

499
0 304

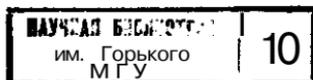
Михаил Михайлович Бахтин. ФРЕЙДИЗМ. ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА. СТАТЬИ. Составление, текстологическая подготовка, И.В.Пешкова. Комментарии В.Л.Махлина, И.В.Пешкова. — Издательство "Лабиринт", М., 2000 - 640 с.

Редактор: Г. Н. Шелогурова

Художник: И. Е. Смирнова

Компьютерный набор: Н. Е. Еремин

Впервые в одной книге собраны все известные на сегодняшний день работы М. М. Бахтина, опубликованные первоначально под фамилиями его друзей. Издательство завершает этим томом серию публикаций «Бахтин под маской», вызывавшую в течении 1990-х годов бурную полемику, как в России, так и за рубежом, в связи с проблемой авторства «спорных текстов». Текстологический анализ, предложенный в данной книге, практически снимает эту проблему.



149 ST-11-02

© Издательство "Лабиринт", редактурa, составление, указатель, оформление, 2000 г.

© В.Л.Махлин. Комментарии

© И.В.Пешков. Статья

Все права защищены

ISBN 5-87604-016-9

П.Н.МЕДВЕДЕВ

УЧЕНЫЙ САЛЬЕРИЗМ 6

В.Н.ВОЛОШИНОВ

ПО ТУ СТОРОНУ СОЦИАЛЬНОГО 18

И.И.КАНАЕВ

СОВРЕМЕННЫЙ ВИТАЛИЗМ 46

П.Н.МЕДВЕДЕВ

СОЦИОЛОГИЗМ БЕЗ СОЦИОЛОГИИ 66

В.Н.ВОЛОШИНОВ

СЛОВО В ЖИЗНИ И СЛОВО В ПОЭЗИИ 72

В.Н.ВОЛОШИНОВ

ФРЕЙДИЗМ *Критический очерк 95*

П.Н.МЕДВЕДЕВ.

ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Критическое введение в социологическую поэтику 195

В.Н.ВОЛОШИНОВ.

МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

Основные проблемы социологического метода в науке о языке 349

В.Н.ВОЛОШИНОВ

О ГРАНИЦАХ ПОЭТИКИ И ЛИНГВИСТИКИ 487 «

<РЕЦ.НАКНИГУ>

В.В.Виноградов ОХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 515

СТИЛИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ 517

ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫК? 517

КОНСТРУКЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 535

СЛОВО И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 556

Из "Личного дела В.Н.Волошинова" 573

Текстологический комментарий 589

В.Л.Махлин. Комментарии 590

И.В.Пешков. «Делу» — венец,

или еще раз об авторстве М. Бахтина

в «спорных текстах» 602

П.Н.МЕАВЕДЕВ

УЧЕНЫЙ С АЛЬ ЕР ИЗМ

(О ФОРМАЛЬНОМ (МОРФОЛОГИЧЕСКОМ) МЕТОДЕ)

Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию.

Пушкин, «Моцарт и Сальери».

Формальный или точнее — морфологический метод официально существует в России всего лишь восемь лет — с момента выхода в 1916-17 г. двух первых сборников «Опояза». Но он уже имеет свою любопытную историю.

В этот более чем краткий срок он успел изжить в период Sturm und Drang'a с неизбежно присущей ему экстремой, и полосу широкой исключительной моды, когда состоять в формалистах считалось элементарным и необходимым признаком хорошего литературного тона.

Сейчас мода эта, кажется, проходит. Изжит и экстремизм — в своем кругу и в лагере противников. В то же время несомненен процесс канонизации формального метода. Он становится догмой. У него уже имеются не только учителя и ученики, но ученики и эпигоны.

Думается, что такой момент является наиболее подходящим и для серьезных размышлений о формальном методе, и для наиболее плодотворных споров о нем.

Но прежде всего: что такое формальный метод? Каковы конститутивные признаки его?

Очевидно, что под понятие формального метода не подойдут все теоретические и исторические работы, так или иначе связанные с проблемой художественной формы. В противном случае, формалистами пришлось бы считать и А.Н.Веселовского с его грандиозным, но незавершенным зданием исторической поэтики, и А.А.Потебню как автора «Записок по теории словесности», — с которыми современные формалисты генетически действительно связаны, — и Оск.Вальцеля, и Сент-Бева, и даже Аристотеля. При таком более чем распространенном толковании формальный метод становится ночью, в которой все кошки серы.

Очевидно, что мысля формальный метод именно как метод, мы имеем в виду некую специфическую, особенную установку этого общего интереса к проблеме художественного оформления или точнее — некую систему общих принципов и методических приемов изучения художественного творчества, свойственную и характерную только для формального метода как такового. Такая система у формализма, конечно, имеется.

Ее нельзя свести только к изучению морфологии художественных произведений.

Если бы формальный метод ограничивался чистой морфологией в точном смысле этого термина, т.е. описанием технической стороны художественного творчества, то и спорить было бы почти не о чем. Материал для подобного изучения весь и сплошь дан в художественном произве-

дени. Основные морфологические понятия также более или менее разработаны. Исследователю осталось бы только систематически описывать, и подсчитывать морфологические единицы. И это для изучения художественного творчества дело, конечно, необходимое.

Но в исследовательской практике формалисты отнюдь не ограничиваются такой, столько же скромной, сколько и почтенной ролью. В их работах формальный метод претендует на роль не только исторической, но и теоретической поэтики, на значение общего и основного принципа в историко-литературной методологии, на положение законодателя научного искусствознания. Формальный метод превращается в «формалистическое мировоззрение», приобретая все черты, свойственные исключительно, самокатанному догматизму. В этом плане, к сожалению, и строится вся система основоположений формализма — уже не как метода, а — принципа литературной методологии.

В наиболее резких и отчетливых формулировках она сводится к следующему:

Необходимо изучать «само художественное произведение, а не то, "отражением" чего является оно, по мнению исследователя»¹. Само же художественное произведение — «чистая форма»². Вообще в искусстве нет содержания»³, или — точнее: «содержание (душа сюда же) литературного произведения равна сумме его стилистических приемов»⁴. Таким образом, «...художественное произведение состоит из материала и формы»⁵. Материалом в словесном творчестве являются слова; форма — слагается из приемов их обработки. Отсюда как основной методологический закон и верховный завет: «Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать "приемы" своим единственным "героем"»⁶.

Такова теоретическая база формального метода. Без труда узнаются тут основоположения материальной эстетики, получившей довольно широкое развитие в современном европейском искусствознании. Дессуар и вся работа его журнала, Утиц, отчасти Вельфлин («Основные понятия истории искусств»), А.Гильдебранд своей «Проблемой формы в изобразительном искусстве», Г.Корнелиус и др. немалою научили или, по крайней мере, могли бы научить наших формалистов.

Для всех этих искусствоведов в большей или меньшей степени характерно утверждение примата материала и формы как организации этого материала.

Идеологически формальный метод и является одним из самых крайних выражений этой тенденции. Такова уж, видно, русская натура — все довести до крайности, до предела или даже переплеснуться через предел — в абсурд...

¹ Б.Эйхенбаум. «Молодой Толстой», стр. 8.

² В.Шкловский. «Розанов», стр. 4.

³ В.Шкловский. «Тристам Шенди» Стерна и теория романа», стр. 22.

⁴ В.Шкловский. «Розанов», стр. 8.

⁵ В.Шкловский. «Литература и кинематограф», стр. 18.

⁶ Р.Якобсон. «Новейшая русская поэзия. набросок первый. Хлебников», стр. 10.

Неудивительно, что положительные достижения формального метода в России аналогичны заслугам европейской материальной эстетики: он впервые в России строго поставил, «остранил» методологическую проблему; он был первым, начавшим в России систематическое изучение формы и техники словесного искусства; искусство-переживание, чем была у нас до сих пор лучшая часть критики, он пытается заменить объективным искусствознанием.

Умалывать эти заслуги, конечно, не приходится — они несомненны. Но также несомненно и то, что все они относятся к области пропедевтической — к области постановки тех или иных проблем, связанных с искусствознанием, и подготовки их хотя бы наукообразного разрешения. Это — много, но это — не все и не главное. Главное же — подлинно научное искусствознание, в области словесного творчества — теоретическая и историческая поэтика, как нам представляется, не могут быть обоснованы формальным методом и конструированы на его теоретической базе. Тем менее закономерны претензии просто поставить знак равенства между поэтикой и формализмом как таковым.

В самом деле, есть ли для этого достаточные основания?

Проанализируем основоположения формального метода.

Тезис о необходимости изучать само художественное произведение, а не многообразные отраженности его, на первый взгляд, представляется чрезвычайно убедительным, почти бесспорным. Особенно убедительно, в порядке красноречивой антитезы, он звучит у нас в С.С.Г.Р., где бесхозяйственность области теоретико- и историко-литературного знания поощряла захваты ее самыми разнообразными лихими ушкунниками, где за историю литературы в течение многих десятилетий сходило все что угодно — от утонченнейших философов до изысканий о том, курил ли Пушкин и табак какой именно фабрики.

Все это верно. Но верно и то, что при более внимательном анализе тезис формалистов оказывается чрезвычайно неопределенным, явно недостаточно раскрытым, если не простой тавтологией. «Поэтика есть наука, изучающая поэзию как искусство», говорит В.М.Жирмунский¹. Но что такое искусство? что такое поэзия? что такое художественное произведение как феномен искусства? Как возможно научное изучение этого феномена? Все это — основные, центральные, столбовые вопросы поэтики, с которых нужно начинать. У формалистов они до сих пор остаются неразработанными систематически; имеющиеся частичные указания — или явно недостаточны, или просто ошибочны.

Очень легко отрицать содержание в искусстве, интерпретировать его как «чистую форму» и героизировать прием без систематического анализа эстетического объекта, этой основной реальности эстетического ряда. Но именно этот и только этот анализ раскрыл бы значение содержания в искусстве, понятие формы и роль материала, т.е. дал бы те основные определения, которые могли бы послужить подлинно научным базисом для подлинно научной теоретической поэтики. Вообще, мы полагаем, что определяемая систематически поэтика должна быть эстетикой словесного

¹ Ст. «Задачи стилистики» в сборн. «Задачи и методы изучения искусств», стр. 125.

художественного творчества, понимая под эстетикой, конечно, не метафизическую концепцию красоты, а научно-систематическую теорию объекта художественного восприятия. А оно, конечно, содержательно, а не голо-формально.

Отвергая этот путь и видя единственную данность для научного анализа в художественном произведении, понятом как самодовлеющая и замкнутая в себе вещь, формализм становится наивно-реалистическим учением и обрекает себя на некритическое пользование и орудование основными понятиями поэтики. В области философии это было бы равносильно тому, чтобы философское мышление обернулось вспятым, к временам Беркли и Юма.

Строго говоря, формальный метод с его наивно-реалистическими тенденциями даже не поднимается до эстетического плана. Он не обладает реальностью эстетического ряда. Для него не существует факта искусства как такового. Он знает только техническую, лингвистическую реальность — «слово, простое, как мычание».

Отсюда — тот партикулярный догматизм и то упрощенчество, которых так МНОС» в системе формализма.

«В искусстве нет содержания»... Ничего подобного! Искусство содержательно, как всякая культурная ценность. В конечном счете оно является эстетически оформленным содержанием познания или поступка (в широком смысле). Художественное творчество и направлено на эту вне-эстетическую данность; в художественном творчестве она эстетически претворяется, становясь его содержанием. Конечно, это «содержание» нельзя какого вынуть и обособить из цельного художественного объекта. Подобным образом абстрагированное, оно перестает быть фактом искусства и возвращается в свое первоначальное, до-эстетическое существование — в виде факта познания, политики, экономики, морали, религии и т.д. Старая критика на каждом шагу и с каждым художественным произведением производила именно такую операцию, наивно полагая, что она все же остается в сфере искусства. Не следует повторять ее ошибок! Но в то же время не следует впасть и в противоположную крайность, топя и растворяя содержание и содержательность искусства в его стилистике. «Обычное правило: форма создает для себя содержание», — говорит В.Шкловский¹. Если бы это было и так, то «содержание» все же не отсутствует; хотя бы и «созданное» формой, оно все же наличествует.

Говоря иначе, в искусстве форма содержательна, а не голо-технична, равно как и содержание — формально-конкретно, а не отвлеченно-абстрактно.

Неудивительно, что в своей исследовательской работе формалисты встречаются с проблемой содержания на каждом шагу. Не только Б.М.Эйхенбауму приходится учитывать «диалектику души Толстого»², но даже и В.Шкловскому, обычно просто замалчивающему то, что ему

¹ «Связь приемов сюжетосложения с общими приемам стиля» — сборн. «Поэтика», стр. 123.

² «Молодой Толстой», стр. 81.

неинтересно, приходится признать писателей" «со смысловой формой» — Достоевского и Толстого¹.

Р.Якобсон «установку на выражение» считает «единственным существенным для поэзии моментом»². Но выразительность, насколько нам известно, не может быть беспредметной и бессодержательной/Всегда выражается что-то и как-то. Научному анализу и надлежит раскрыть обе эти тенденции в их специфической природе и в их взаимоотношении. Так возникает проблема корреляции содержания и формы в искусстве, от которой отмахнуться простым игнорированием ее нельзя. Облюбовав и обособив установку на форму и прием, формальный метод неизбежно упрощает проблематику.

В этом отношении очень показательна интересная работа Б.М.Эйхенбаума о Лермонтове. Характеризуя литературную эпоху, к которой принадлежит лермонтовское творчество, автор видит основной признак ее в том, что «она должна была решить борьбу стиха с прозой... Поэзию надо было сделать более "содержательной", программной, стих как таковой — менее заметным; надо было усилить эмоциональную и идейную мотивировку стихотворной речи, чтобы заново оправдать самое ее существование»³.

Трудно подыскать другую, более высокую оценку содержания, хотя бы и взятого в кавычки. Тут содержание объявляется, пользуясь счастливым термином Христиансена, доминантой целой литературной эпохи. Любопытно, что этот процесс связывается Б.Эйхенбаумом с запросами нового читателя. «Поэзия, — пишет он, — должна была завоевать себе нового читателя, который требовал содержательности»⁴. Для читателя же, не искушенного формализмом, искусство и, в частности, поэзия прежде всего — если не исключительно — «содержательны». И в то же время на последующих страницах книги об этом совсем забывается. Содержание куда-то провалилось; остались — прием, жанр, техника. Так работа теряет опору, старательно воздвигнутую самим же автором. Исследование перевернулось вверх ногами.

Именно такой характер садыто-мортале носит обычная ссылка формалистов на «приемы» и «материал».

Прежде всего: материал не постулирует науки, поскольку он может быть по-разному использован. Мрамор является предметом геологии, химии и эстетики скульптуры. Звук изучается, но по-разному, и физической, и лингвистической акустикой, и музыкальной эстетикой. В этом смысле голая ссылка на то, что материал поэзии — слово, что «поэтическим фактом являются "слова простые, как мычание"»⁵, ничуть не содержательнее самого мычания. В таком голом, не раскрытом утверждении заключена опасность ориентации поэтики на лингвистику в сторону «языковых фактов» и в противовес фактам эстетическим, что и случи-

¹ «Литература и кинематограф», стр. 19.

² «Новейшая русская поэзия», стр. 41.

³ «Лермонтов», стр. 10.

⁴ Ibid. стр. 13.

⁵ Р.Якобсон. «Нов. русск. поэзия», стр. 10.

лось с Московским Лингвистическим Кружком, в частности — с самим Р.Якобсоном и некоторыми другими исследователями. Конечно, поэтика и лингвистика, имея разные объекты, принципиально различны как науки. Они находятся в чуждых друг другу планах и в различных системах научного мышления. Недаром и Р.Якобсону приходится видоизменить и уточнить свою неудачную формулировку: «Поэзия, — говорит он в той же работе, — есть язык в его эстетической функции».

Это — уже много лучше и вернее. Но тут мы снова наталкиваемся на эстетику, вне которой, очевидно, не может быть обособлена никакая «эстетическая функция», А где же эстетика формализма?

Отказ от подобного обособования приводит формалистов к ошибочным выводам и в ээри области.

Поэт орудует словами, слова воспринимает читатель, — говорит В.М.Жирмунский в «Задачах поэтики».

Это не вполне верно. Проверьте свой опыт эстетического восприятия, и вы убедитесь, что читатель воспринимает не самые слова, а представления объектов, заключенные в словах, т.е. в конечном счете — самые объекты словесных представлений. И /художник, поэт орудует не словами как таковыми, как и не образами (зрительными представлениями) и не переживаниями-эмоциями, а смыслом этих слов, содержанием их, значением их, т.е. в конечном счете — самими предметами (не в буквальном конечно, смысле), самими ценностями, знаком которых — попен в буквальном смысле — и являлись слова.

Правда, может быть в поэтическом творчестве специальная установка на слово как таковое, на звук, что мы и наблюдаем не только в некоторых произведениях футуристов, напр., в «Смехачах» Хлебникова, но даже и у Пушкина. Но это же ведь частность, деталь, а не общее правило, не принцип.

С другой стороны, материал как до-эстетическая, природная данность, для поэзии же — как данность лингвистическая, в процессе художественного творчества деформируется, преодолевается и в итоге перестает быть материалом в техническом смысле. Мрамор и бронза, использованные скульптором, перестают быть определенными разновидностями камня и металла. Звук, музыкально оформленный, перестает быть звуком акустики. Краска как элемент картины перестает быть химическим явлением. И слово поэта не есть слово лингвиста. «Эстетическая функция», о которой говорит Р.Якобсон, совершенно деформирует то, что было материалом.

В этом смысле можно сказать, что материал не входит в эстетический объект. Он — предмет только техники, только мастерства. Вот почему ориентация на материал как на элемент эстетически значимый является в конце концов попыткой усесться в несуществующее кресло. Очевидно, учитывая это, формальный метод выдвигает на первый план приемы оформления материала. Происходит уже знакомая нам героизация приема.

Но положение этим, по нашему мнению, не спасается. Прежде всего, форму художественного произведения нельзя сводить к сумме его стилистических приемов. Форма в художественном творчестве — понятие не арифметическое и не механистическое, а телеологическое, целенаправлен-

ное. Она — не столько данность, сколько за данность, и прием является только одним из материальных показателей этой целеустремленности формы. Каждый стилистический прием в отдельности и все они в своей совокупности являются функцией цельного и единого творческого задания, осуществляемого данным произведением, данной школой, данным стилем.

Только при таком понимании форма приобретает характер органического единства и эстетической реальности. Вне его — форма превращается в механическое сцепление друг с другом не связанных и эстетически незначимых элементов, т.е. перестает быть формой, просто отсутствует как таковая.

Отвергая такое понимание художественной формы, формализм сводит все изучение ее к голому констатированию разрозненных композиционных приемов; говоря иначе — формализму введома композиция, но не архитектоника художественных произведений. Вопрос построения он заменяет вопросом кладки кирпичей.

Таковы, в первую очередь, работы по композиции В.Шкловского. Его претензии на знание того, как сделан «Дон-Кихот» или какое-либо другое произведение — по меньшей мере преувеличены. Знать это — значит знать смысл того «сцепления мыслей», о котором говорил в известном письме Л.Толстой. А этого сложного и основного вопроса архитектоники В.Шкловский нигде никогда и не ставит. Ведь пора же, в самом деле, различать композицию как организацию материала (слов, материальных масс, звуков, красок), и архитектонику как организацию эстетического объекта и заключенных в нем ценностей. В.Шкловский не делает этого. Вот почему все его работы по композиции сводятся к простому констатированию того, что, по его собственному выражению, «вообще — очень часто встречается»¹ — у Стерна, у Толстого, у Сервантеса, у Розанова. Идеалом и пределом подобных работ является статистическая таблица приемов, композиционная арифметика, что с успехом и выполняется в данное время усердной российской провинцией.

Не столь элементарно-грубо, более утонченно и интересно, но по существу то же самое делает и Б.М.Эйхенбаум в своей работе «Мелодика стиха». Тут им постулируется мелодика, которая «механически порождается ритмом, как отвлеченный, независимый ни от смысла слов, ни от синтаксиса напев»².

В.М.Жирмунский в рецензии на эту книгу чрезвычайно убедительно вскрывает фиктивность этого построения и доказывает, что «только единство стилистических приемов и прежде всего смысл стихотворения, его особый эмоциональный тон определяет собою напевность стиха»³.

Но понятие единства приемов относится к архитектонике художественного произведения как целого. Но система приемов не есть арифметическая сумма их — система качественно отлична от суммы. Очевидно, что и кладка кирпичей невозможна без цемента. Таким цементом в по-

¹ «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа», стр. 31.

² «Мелодика стиха», стр. 95.

³ В.Жирмунский. «Мелодика стиха» — журн. «Мысль», 1922 г., №3, стр. 125.

нятии формы является принцип единства художественного задания, нормирующего и предопределяющего все частности, все детали как содержательного, так и формального порядка.

Отрицание или недооценка этого и в противовес — героизация приема как такового — ведет на ложные пути. «Вся работа поэтических школ, ;— пишет В.Шкловский¹, — сводится к накоплению и выявлению новых приемов расположения и обработки словесных материалов и, в частности, гораздо больше к расположению образов, чем к созданию их. Образы даны». К сожалению, даны не только образы, но, в не меньшей степени, и приемы. Недаром В.Маяковский, по В.М.Жирмунскому, в области свободного стиха — наследник Ал.Блока. Не случайно и В.Хлебников у Р.Якобсона — только более решительный интерпретатор традиционных ритмических ходов и стилистических приемов. Так всегда. Без этого не было бы ни художественных школ, ни истории поэзии и творчество превратилось бы в «чистое» и «перманентное» изобретение. Этого, конечно, нет и быть не может. Вот почему существо стиля определяется не столько наличием и новизной приемов, сколько специфической установкой и своеобразным использованием их. Колонны присущи и классицизму и барокко. Но для первого типично монументальное, а для второго — декоративное использование их. Жирным, широким мазком пишут и Рембрандт и Репин. «Музыкальность», «мелодичность» свойственна не только поэтам-романтикам, но и классикам, хотя бы Пушкину, но использование этой звуковой формы слова у тех и у других различно.

Возможностью учесть количество и разнообразие тех или иных приемов объясняется и оправдывается наличие теории композиции и систематических работ в этой области. В противном случае пришлось бы а priori отвергнуть научную ценность «Композиции лирических стихотворений» и «Рифмы» В.М.Жирмунского, «Мелодики стиха» Б.М.Эйхенбаума и всей богатейшей европейской литературы по вопросам композиции и стилистики.

Таким образом, на «НОВИЗНЕ приемов» ничего положительного построить нельзя; она, эта новизна, в значительной мере фиктивна... Тем менее подобным фундаментом может служить самое наличие приема и простое констатирование его. Прием сам по себе еще ничего не значит; из наличия его еще ничего не следует.

А между тем в некоторых работах формалистов вся цель исследования сводится именно к уловлению приемов, к голому констатированию их, и только к этому. Уже знакомая нам героизация приема переходит в явную манию: прием и только прием — где бы то ни было, когда бы то ни было, у кого бы то ни было. Таков, прежде всего, «Розанов» Шкловского. В «Опавших листьях» Розанов писал: «Во мне ужасно много гниды, копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное. Отчасти отсюда и глубина моя»². Для В.Шкловского это потрясающее признание, стоящее, пожалуй, «Исповеди» Л.Толстого и пе-

¹ «Искусство как прием». — «Поэтика», стр. 102.

² «Опавшие листья», стр. 446.

реписки Гоголя, всего только — «материал для стройки». Что же удивительного, что для него — «самая конкретность ужаса Розанова есть литературный прием»?

Еще один пример, У Р.Якобсона читаем: «Ряд поэтических приемов находит себе применение в урбанизме. Отсюда урбанистические стихи Маяковского и Хлебникова»¹. Правильным будет, конечно, как раз обратное: урбанизм породил урбанистические стихи этих поэтов и предопределил их специфическую стилистику. Это доказывается хотя бы уж тем, что приемы Маяковского постепенно вырабатывались на урбанистическом материале. Иначе говоря, стилистика Вл. Маяковского, как и всякого художника, явление исторически обусловленное, а не самодовлеющее.

Но идея историзма в широком и единственно верном смысле этого термина, не как временной последовательности, а как живой эволюции, как внутренне, телеологически обоснованной преемственности, чужда формализму. Ему вообще свойственна больше статика, нежели динамика исторических фактов и форм. Пафос его и в этой области — «константизм факта», т.е. то, что еще Л.Толстой справедливо отказывался признавать историей.

Вот почему, по нашему мнению, формализмом никогда не может быть обоснована история литературы и искусства вообще. По крайней мере немногочисленные пока опыты его представителей в историко-литературной области обнаруживают крайнюю путаницу и неопределенность общих методологических позиций. Так, напр., первые десятки страниц работы Б.М.Эйхенбаума об Анне Ахматовой пестрят указаниями на «конкретную жизнь души», «напряженность эмоций», «образ живого человека» и т.д. В «Лермонтове» тот же автор постулирует «историческую индивидуальность» поэта, а его поэмы 1833-34 г. «склонен рассматривать не как литературные произведения, а как психологические документы»². С другой стороны, в этой же работе неожиданно появляется уже знакомый нам читатель со своими собственными запросами и требованиями.

Так мало-помалу в историко-литературный обиход возвращаются понятия психологические, философские, социальные, метафизические. Мы не виним в этом автора — без них, очевидно, не может обойтись историко-литературная работа даже формалиста. Но нам представляется, что использование подобных определений и понятий без точного обоснования их и вне методологической систематики вряд ли является достоинством.

Но, конечно, методология истории литературы — вне пределов и возможностей формализма: для обоснования ее пришлось бы перешагнуть и через «материал» и через «прием».

Очень показательна в этом отношении статья Ю.Н.Тынянова «О литературном факте» («Леф», 1924 г., №2/6). Самое общее, исключительно «принципиальное» обращение к вопросам методологии истории литературы заставляет автора уже значительно отойти в сторону от са-

¹ «Розанов», стр. 19 и 21.

² «Новейшая русская поэзия», стр. 16.

³ Б.Эйхенбаум. «Лермонтов», стр. 103.

мых боевых лозунгов и утверждений раннего формализма. Так, он, прежде всего, высказывается против статических определений литературы и литературного жанра в пользу сложно эволюционирующего и исторически определяемого «литературного факта». Затем он выдвигает в качестве, «героя» не самый прием, а его функциональное и конструктивное значение. Вообще, во главу угла он ставит «конструктивный принцип», смену их в исторической данности, для каковой признает необходимым «какие-то особые условия». Тут ему приходится признать — что он и делает — взаимодействие факторов литературных и бытовых. Наконец, он выдвигает на одно из первых мест «семантические группы» и, в конце концов, не может пройти мимо авторской индивидуальности, но, конечно, не впадая в ненавистный психологизм: «Существуют явления стиля, — пишет Ю.Н.Тынянов, — которые подходят к лицу автора».

Для начала и этого немало. Несомненно, дальше придется пойти тогда, когда нужно будет раскрыть общие формулы, когда придется выяснять причины смены конструктивного фактора, когда возникнет интерес не только к проблемам жанра, но и индивидуального стиля, когда придется отказать от утверждения самозаконности литературного ряда и т.д.

Пока для формалистов все это — «свыше сил».

Впрочем, не для всех. У В.М.Жирмунского в последние годы наблюдается решительный разрыв с тем, что он называет «формалистическим мировоззрением»¹, и тенденция более точно и систематически обосновать формальный метод именно как метод, а не предмет изучения («искусство как прием» и только — «как прием»). В итоге автором вводится в методологический оборот ряд существенно важных моментов. Прежде всего — понятие эстетического объекта. «Наша задача при построении поэтики, — пишет он, — исходить из материала вполне бесспорного и независимо от вопроса о сущности художественного переживания изучать структуру эстетического объекта»². Затем В.М.Жирмунский выдвигает понятие тематики как «части поэтики, изучающей то, о чем рассказывается в произведении». Наконец, он вводит понятие «единства художественного задания данного произведения», в котором отдельные приемы «получают свое место и свое оправдание», понятие «стилевой системы», стиля.

Все это в совокупности — значительный сдвиг в преодолении «формалистического мировоззрения» и важный шаг к построению научной методологии эстетики словесного творчества.

Правда, не все в системе В.М.Жирмунского нам достаточно ясно. Он, напр., пишет: «Подвергая это впечатление («основное художественное впечатление, которое мы получаем от произведения искусства» — П.М.) научной обработке, мы получаем систему формально-эстетических понятий ("приемов"), установление которой и является целью историко-поэтического исследования»³. Нам думается, что научная обработка

¹ Вступительная статья «К вопросу о формальном методе», предпосланная переводу работы Оск.Вальцеля «Проблема формы в поэзии», стр. 10.

² «Задачи поэтики» в сб. «Задачи и методы истории искусств», стр. 133 и 145.

³ «Валерий Брюсов и наследие Пушкина», стр. 6.

«основного художественного впечатления», т.е. эстетического объекта, анализ его, дифференциация его раскрывает определенное эстетическое содержание, определенно оформленное через определенный материал, чему и служит некая система стилистических приемов. И потому целью историко-поэтического исследования должно быть, по нашему мнению, изучение всех этих функций эстетического объекта в их взаимоотношении, а не только «формально-эстетических понятий». С другой стороны, понятие тематики у В.М.Жирмунского представляется нам несколько обуженным. Для него она, в конечном счете, только часть стилистики. А между тем сам автор подчеркивает и отчетливо выделяет «такие образцы современного романа (Стендаль, Толстой), в которых слово является в художественном отношении нейтральной средой или системой обозначений, сходных с словоупотреблением практической речи в вводящих нас в отвлеченное от слова движение тематических элементов»¹. Впрочем, в данном случае все это — детали, частности. Важным и существенным является самая попытка преодолеть «формалистическое мировоззрение», необходимость ее, неизбежность ее. Вот почему она представляется нам далеко не случайной и не только фактом биографии данного ученого.

Дело, конечно, не в том, что нельзя музыку разять, как труп и поверить алгеброй гармонию. На своем месте, в точных пределах изучения произведения искусства как материальной вещи это не только возможно, но и необходимо. Вот почему и не приходится возражать против формального метода как метода морфологического.

Но не могут быть оправданы притязания формализма на большую значимость и роль, не может быть оправдано самое «формалистическое мировоззрение». Сальеризм, доведенный до конца, абсолютизированный, приводит к убийству Моцарта. А это уже преступление.

«Ясно видеть механизм, — говорит Эдгар По, — шестерни и колеса какого-нибудь произведения искусства, несомненно, представляет, само по себе, известное наслаждение, но такое, что мы можем его испытывать как раз лишь настолько, насколько мы не испытываем законный эффект, замысленный художником; и действительно, слишком часто бывает, что размышлять аналитически об искусстве — это то же самое, что отражать в себе предметы по методу зеркал, находящихся в храме Смирны и представляющих самые красивые вещи искаженными»².

Итак, формальный метод, становясь формализмом, «формалистическим мировоззрением», переходит за пределы своей компетенции и явно преувеличивает свои научные полномочия, подтверждая мудрое наблюдение Квинтилиана: «*facilius est plus facere, quam idem*» — действительно, легче сделать больше, чем то, что следовало сделать.

Впрочем, для этого «*plus facere*» имеются совершенно очевидные исторические причины. Несомненно, что формализм как таковой является, с одной стороны, резкой реакцией против эстетики содержания — гегемона старого русского искусствоведения, и с другой — крайним выражением духа экспериментаторства, повышенного интереса к лингвистиче-

¹ «Задачи поэтики», стр. 144.

² «Механизм искусства». ~ Собр. сочин., т. II, стр* 196.

ским проблемам, деформации старой психики и канонических форм искусства, столь свойственных нашей критической, переломной эпохе.

Будучи явлением исторически обусловленным, порожденным тенденциями определенного времени, формализм сам — только «историческая эмоция», и «только прием»...

Павел Медведев

Октябрь 1924 г.

Эта работа была уже написана, когда мне привелось познакомиться с новой статьей Б.М.Эйхенбаума — «Вокруг вопроса о "формалистах"» («Печать и Революция», 1924 г., V), носящей теоретико-методологический характер.

К сожалению, ничего существенно нового в ней не имеется.

Утверждение, что «никакого "формального метода", конечно, нет» по существу правильно. Вот почему в пределах узко-методологических мы и предпочитали говорить не о формальном, а о морфологическом методе.

Но если нет формального метода, то есть формализм как принцип, есть «формалистическое мировоззрение». «В ухо Ивану — в ноги Сидору». И Б.М.Эйхенбаум пишет: «Вопрос идет не о методах изучения литературы, а о принципах построения литературной науки — об ее содержании, основном предмете изучения, об организующих ее как особую науку приемах... Признание, что основной проблемой литературной науки является специфическая форма словесных произведений и что все элементы, из которых она строится, имеют формальные функции как элементы конструктивные, есть, конечно, принцип, а не метод» (ibid., стр. 2-6).

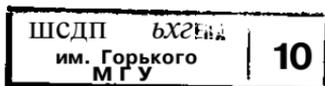
Итак, «формализм» как принцип построения литературной науки (поэтики) еще раз декларируется. Посильная оценка его и дается на предыдущих страницах.

Еще одно замечание. Не без бравады Б.М.Эйхенбаум заявляет: «у нас самих сколько угодно методов» (стр. 4). Вот, мол, какие мы; знай наших!

Вряд ли уместна такая бравада. Метод должен вытекать из природы изучаемого объекта. Только в этом случае он будет не внешне навязанным и не случайно пристегнутым. Если у «литературной науки» есть «основной предмет изучения», то «сколько угодно методов» вряд ли потребуется для этого изучения. Позиция методологического монизма диктуется тут самим существом задачи. И эта позиция должна быть тем более обязательна для тех, кто думает о «построении теории и истории литературы как самостоятельной науки».

Ноябрь 1924 г.

П.М.



В.Н.ВОЛОШИНОВ

ПО ТУ СТОРОНУ СОЦИАЛЬНОГО

О ФРЕЙДИЗМЕ

«Что до меня касается, то я убежден только в одном...» — сказал доктор.

«С чем это?» — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

«В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру».

«Я богаче вас! — сказал я, — у меня, кроме этого, есть еще убеждение — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться».

(Лермонтов. «Герои нашего времени»)

I

Не подлежит, конечно, никакому сомнению, — что если б я не родился в один прекрасный или прегадкий вечер на свет, для *меня* вообще не существовало бы ни внешнего, ни внутреннего мира, ни содержания моей жизни, ни ее результатов; не существовало бы никаких вопросов, сомнений, проблем. Факт *моего* рождения — *conditio sine qua non* всей *моей* жизни и деятельности. Не менее достоверно и значение смерти. Но если свет для меня клином сошелся на этих крайних терминах личной жизни, если они становятся определяющим моментом мировоззрения, альфой и омегой жизненной мудрости, становятся событиями, претендующими конкурировать с историей, — можно наверное сказать, что жизнь оказалась и лишней и пустой. Мы созерцаем дно сосуда, только когда он пуст.

Когда социальный класс находится в стадии разложения и принужден покинуть арену истории, его идеология начинает навязчиво повторять и варьировать тему: человек есть прежде всего животное, пытаюсь с этой точки зрения по-новому переоценить все ценности мира и особенно истории. Вторая часть формулы Аристотеля («человек — животное *социальное*») при этом основательно забывается; идеология переносит центр тяжести в абстрактно понятый биологический организм, а три основных события его общеживотной жизни — рождение, половой акт, смерть — должны заменить историю.

Не-социальное, не-историческое в человеке абстрактно выделяется и объявляется — высшим мериллом и критерием всего социального и исторического. Точно из ставшей неуютною и холодной атмосферы истории можно спрятаться в органическую теплоту животной стороны человека!

Какое значение для *содержания* жизненной деятельности и ее результатов может иметь рождение и жизнь отвлеченного биологического человека?

Изолированная личность от своего имени, за свой страх и риск, вообще не может иметь дела с историей. Только как часть социального целого, в классе и через класс, становится она исторически, реальной и действительной. Чтобы войти в историю, мало родиться физически — так рождается животное, но оно в историю не входит, — нужно как бы второе, сознательное, рождение. Рождается не абстрактный биологический организм, рождается крестьянин или помещик, пролетарий или буржуа — и это главное; далее, рождается или русский или француз и т.п., наконец, в 18.-м или 19.-м году — и только здесь начинается история; здесь же начинается идеология. Все попытки миновать это второе социальное рождение и все вывести из биологического факта рождения и жизни изолированно взятого организма — безнадежны, заранее обречены на неудачу: ни один поступок цельного человека, ни одно идеологическое построение не могут быть объяснены и поняты на этом пути, и даже чисто специальные вопросы биологии не найдут исчерпывающего разрешения без точного учета социального места изучаемого отдельного человеческого организма. И в биологии нельзя интересоваться, как это было до сих пор, только возрастом человека.

Но именно этот абстрактный биологический организм стал героем буржуазной философии конца XIX» начала XX века, философия «чистого познания», «творческого я», «идеи» и «абсолютного духа», достаточно энергичная и по-своему еще трезвая философия героической эпохи буржуазии, еще полная исторического и буржуазно-организаторского пафоса, сменилась пассивной и дряблой «философией жизни», биологически окрашенной, склоняющейся на все лады и со всеми возможными префиксами и суффиксами глагол «жить»: переживать, изживать, вживаться и т.д.

Биологические термины органических процессов наводнили мировоззрение: ко всему старались подыскать биологическую метафору, приятно оживляющую предмет, застывший — в холоде кантовского чистого познания. Шопенгауэр и Ницше стали властителями дум, отмечая собою два полюса эмоциональной шкалы биологизма: пессимистический и оптимистический. Бергсон, Зиммель, Дриш, Джемс, и прагматисты, даже Шелер и феноменологи,, наконец, Шпенглер; из русских — Степун, Франк, отчасти Лосский — все эти столь разнородные, в общем, мыслители сходятся все же в главном: в центре их построений лежит органически понятая жизнь как основа всего, как последняя реальность; всех их объединяет и борьба с кантианством, с философией сознания. Только то имеет значение и ценность для новейшей буржуазной философии, что может быть пережито и органически усвоено: только поток органической жизни реален.

Проблема истории ставится, но подвергается своеобразной обработке. И здесь стараются выдержать примат биологического: все, что не удается втиснуть в душные пределы органического изживания, что не удается перевести на язык субъективного самодовления жизни — объявляется фикцией, дурной абстракцией, машинизмом и прочее. Достаточно назвать последовательный исторический биологизм Шпенглера.

Методы всей этой биологической философии, конечно, субъективны; органическое переживается и постигается изнутри; познание и рациональный (трансцендентальный) метод анализа заменяется интуицией; внутренним отождествлением с познаваемым предметом, вчувствованием; логический субъективизм классического идеализма сменяется еще худшим субъективизмом смутного органического переживания.

Своеобразной разновидностью современной биологической философии является и фрейдизм — это, быть может, наиболее, резкое и последовательное выражение той же тяги прочь из мира истории и социального в соблазнительную теплоту органического самодовления и изживания жизни.

Фрейдизму и посвящена настоящая работа.

Однако, в рамках предлагаемой статьи мы можем коснуться лишь основ концепции Фрейда — метода и «бессознательного», — стараясь в этих основах вскрыть интересующее нас общеидеологическое устремление буржуазной современности. Критике мы считаем нужным предположить изложение, построенное так, чтобы прежде всего были ясны те основные, определяющие линии этой теории, которые сделали ее столь привлекательной для широких кругов европейской буржуазии.

II

У многих читателей, вероятно, уже готовы возражения: разве фрейдизм философия? Это — эмпирическая частная научная теория, нейтральная ко всякому мировоззрению. Фрейд — натуралист, даже материалист, он работает объективными методами и пр. и пр¹. В основе фрейдизма, действительно, лежат кое-какие научно-безупречные факты, кое-какие эмпирические наблюдения; но это эмпирическое и в известной степени нейтральное ядро — мы увидим, что оно едва ли так велико, как кажется — уже у самого Фрейда² плотно со всех сторон обрастает отнюдь не нейтральным мировоззрением, а во фрейдизме в его целом — это ядрышко просто растворяется в море субъективного философствования. Фрейдизм сейчас пользуется чрезвычайно большим распространением почти во всем мире, и этот успех его в самых широких кругах публики создан отнюдь не нейтрально-научным моментом этого учения³.

¹ В западно-европейской и русской литературе были сделаны попытки соединить фрейдизм с диалектическим материализмом. Попытки эти, как мы покажем дальше, основаны на недоразумении. Вот важнейшие русские статьи последнего времени, пытающиеся примирить Фрейда с марксизмом: *А. Б. Залкинд*. «Фрейдизм и марксизм», «Очерки культуры революц. времени»; *Б. Быховский*. «О методологических основаниях психоаналит. учения Фрейда» («Под знаменем марксизма», №12, 1923 г.); *К. Д. Фридман*. «Основные психолог. воззрения Фрейда и теория истор. мат-зма» («Психология и марксизм», под ред. Корнилова); *А. Р. Лурия*. «Психоанализ как система монистич. психологии» (ibid.). Более сдержано: *А. М. Рейснер*. «Фрейд и его школа о религии» («Печать и Рев.», №2, 1924 г.) и др... Иную, совершенно правильную позицию занимает *В. Юринец* в прекрасной статье «Фрейдизм и марксизм» («Под знаменем марксизма», №8-9, 1924 г.).

² Две последних работы Фрейда «Jenseits des Lustprinzips» (1921 г.) и «Das Ich und das Es» (1923 г.) — чисто философские книги и не оставляют никаких сомнений в основах мировоззрения Фрейда.

³ На последнем всемирном съезде психоаналитиков в 1922 г. были высказаны многими участниками съезда опасения, что спекулятивная (умозрительная) сторона психоанализа ш-

Пафос фрейдизма — пафос открытия нового мира, целого неизведанного материка по ту сторону социального и исторического и — мы можем смело сказать — вообще по ту сторону материального. Этот новый материк, — что можно было бы предвидеть с самого начала, но к чему Фрейд пришел, однако, не сразу, — оказался внепространственным и вневременным, алогичным (в нем нет противоречий и отрицаний) и неизменяемым; этот мир — *бессознательное*.

Бессознательное — не ново. Мы знаем его хорошо и в субъективно-философском контексте Гартмана и в сухом научном — Шарко и его школы (Жанэ и др.). Бессознательное Фрейда в начале пути своего развития генетически было связано с последним (Шарко), а в конце пути духовно сблизилось с первым (Гартман). Но в основном оно совершенно своеобразно и чрезвычайно характерно для нашего времени.

Еще в 1889 году в Нанси Фрейда — тогда скромного венского врача, приехавшего пополнить образование во Францию, — поразил опыт Бернгейма¹: загипнотизированной пациентке было внушено через некоторое время после пробуждения раскрыть зонтик, стоявший в углу комнаты. Пробужденная из гипнотического сна дама в назначенный срок в точности выполнила приказанное: прошла в угол и раскрыла зонтик в комнате. На вопрос о мотивах ее поступка она ответила, что хотела только убедиться, ее ли зонтик. Мотивы совершенно не соответствовали действительным причинам поступка и были придуманы *post factum*, но сознание больной они вполне удовлетворили. Далее, Бернгейм заставил больную, путем настойчивых расспросов и наведений ее мысли, вспомнить настоящую причину поступка; приказание, данное во время гипноза, удалось, хотя и с большими усилиями, довести до сознания, снять гипнотическую амнезию (забвение).

Этот эксперимент прекрасно вводит нас в самые основы ранней концепции Фрейда².

Три основных положения определяют эту концепцию в начале пути:

1) мотивация сознания *при всей ее субъективной искренности* не всегда соответствует действительным причинам поступка;

2) поступок часто определяется силами, *действующими в психике, но не доходящими до сознания*;

У) эти силы с помощью известных приемов могут быть доведены до сознания.

На основе этих трех положений был выработан ранний метод Фрейда, так называемый *катартический*, разработанный им совместно со старшим коллегой и другом — доктором Брейером.

Сущность этого метода в следующем: в основе психогенных (вызванных психической, а не органической травмой) нервных заболеваний, в

вершено заслонила его первоначальное терапевтическое назначение (см. об этом *D-z Ferencki* и *D-r O. Rank*. «Entwicklungsziele der Psychoanalyse» 1924 г.

¹ Об этом см. *Фрейд*. «Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung» (Kleine Schriften zur Neurosenlehre. 4. Folge).

² Для всего последующего см.: *D-r Breuer* und *D-r Freud*. «Studien über Hysterie». 1. Aufl. 1895, 2. Aufl. 1910 г., 4. Auflage, 1922.

частности истерии, лежат психические образования, не доходящие до сознания, амнезированные, забытые им, а потому не могущие быть нормально изжитыми иотреагированными; они-то и образуют болезненные симптомы истерии¹. Нужно снять амнезию, довести их до сознания, вплести в единую ткань его и, таким образом, дать имотреагировать и изжить себя. Этим — симптом уничтожается. Это и есть катарсис (аристотелевский термин: катарсис — очищение от аффектов страха и страдания. Он является эстетическим результатом трагедии).

Для достижения этой цели — снятия амнезии иотреагирования — Фрейд и Брейер пользовались гипнозом (полным или неполным). Бессознательное на этой ступени развития определяется очень близко к школе Шарко (особенно Жанэ) как *гипноид* (близкое к гипнозу состояние), как некое чужеродное тело в психике, не связанное прочными ассоциативными нитями с другими моментами сознания, а потому ирывающее его единство. В нормальном состоянии психики к этому образованию близко мечтание (сон в состоянии бодрствования), конструкция которого более свободна от тесных ассоциативных связей, проникающих сознание². Значение сексуального момента в брейеровский период еще совершенно не выдвинуто.

Так выглядит бессознательное Фрейда в своей колыбели.

Отметим *чисто психический* характер этого новорожденного. Брейер еще пытается дать физиологическое обоснование своего метода³, Фрейд с самого начала повернулся спиной к физиологии. Отметим и еще одно: только в переводе на язык сознания можно получить продукты бессознательного, т.е. путь к бессознательному движется из сознания и через сознание.

Самым существенным моментом следующего этапа развития фрейдизма является динамизация психического аппарата и прежде всего знаменитое учение о *вытеснении*⁴.

Что такое вытеснение?

На первых ступенях развития личности наша психика не знает различения возможного и невозможного, полезного и вредного, дозволенного и недозволенного. Она управляется только одним принципом, *принципом наслаждения* (*Lustprinzip*)⁵; на этой фазе развития в психике свободно и беспрепятственно рождаются такие представления, чувства и желания, которые на следующих ступенях развития привели бы сознание в ужас своей преступностью и порочностью.

В детской психике все позволено, и она — может быть это неожиданно для нас — очень широко пользуется этой привилегией для накопления громадного запаса самых греховных образов, чувств и желаний — греховных, конечно, с точки зрения дальнейших ступеней развития. К

¹ D-r Brewer und D-r Freud. «Studien über Hysterie». 1. Aufl. 1895, 2. Aufl. 1910 г., 4. Auflage, 1922. стр. 1-14.

² Ibid., стр. 188 и сл.

³ Ibid., стр. 161 и сл.

⁴ Об этом см. Фрейд. «Zur Geschichte d. psych. Bevegung».

⁵ Freud. Über zwei Princ. d. psych. Geschehens» (Kl.Schrift. 3.F.), стр. 271 (3. Auflage).

нераздельному господству принципа наслаждения присоединяется на этой ступени гипотетически допускаемая Фрейдом способность галлюцинаторного удовлетворения желаний¹; ребенок еще не знает различия действительного и недействительного: только представленное — для него уже реально. Такое галлюцинаторное удовлетворение желаний сохраняется человеком на всю жизнь *во сне*.

На следующих ступенях развития господство принципа наслаждения начинает оспариваться¹ другим принципом психического свершения — принципом *реальности*. Весь психический материал должен теперь выдерживать испытание с точки зрения каждого из этих принципов. Желанное и сулящее наслаждение может оказаться неудовлетворимым и потому причиняющим страдание или, при удовлетворении, может повлечь за собою неприятные последствия. Такие желания должны быть подавлены. Происходит психический отбор, и только то душевное образование, которое выдержит двойное испытание с точки зрения обоих принципов, легализуется и входит в высшую систему психического — *в сознание* или только получает возможность войти в него, т.е. становится *предсознательным*. Не выдержавшее испытания и в этом смысле нелегальное *вытесняется* в систему *бессознательного*. Это вытеснение, работающее непрерывно на протяжении всей жизни человека, совершается *механически, без всякого участия сознания*; сознание получает себя в уже совершенно готовом, очищенном виде. Оно не регистрирует вытесняемого и может совершенно не подозревать о его наличности и составе. Ведает вытеснением особая психическая инстанция, которую Фрейд образно называет цензурой; цензура лежит на границе систем бессознательного и предсознательного. Все, что есть в сознании, *трецензурировано*².

Таким образом, с точки зрения психической динамики, *бессознательное можно определить как вытесненное*.

Каков же состав, каково содержание бессознательного? Психическая деятельность приводится в движение внешними и внутренними раздражениями организма. Внутренние раздражения имеют соматический источник, т.е. рождаются в нашем теле. *Психические представления* этих внутренних соматических раздражений Фрейд называет *влечениями* (Triebe)¹. Все влечения Фрейд разделяет по цели и по соматическому источнику (этот источник Фрейд почти не подвергает исследованию) на две группы: на *сексуальные*, цель которых — продолжение рода, хотя бы ценою жизни индивида, и *влечения «я»* (Ichtriebe); их цель — самосохранение индивида. Эти две группы влечений несводимы одна на другую и могут вступать между собою в разнородные конфликты.

Остановимся прежде всего на сексуальных влечениях. Они-то и доставляют главный материал в систему бессознательного. Группа этих влечений исследована Фрейдом лучше всего, и, может быть, именно здесь, в области сексологии, и лежат его главные научные заслуги (конечно,

¹ См. Фрейд. «Толкование сновидений» (1913 г. Москва), стр. 388–391, 403–405.

² Ibid., стр. 116 и 439, а также «Я и Оно» (1925 г. Ленинград). Гл. I–II.

³ См. для всего последующего «Kl. Schrift, zur Neurosenlehre».

если отвлечься от чудовишной идеологической переоценки роли сексуального момента в культуре).

Выше мы говорили, что на ранних ступенях психического развития ребенок накапливает громадный запас чувств и желаний, безнравственных с точки зрения сознания. Подобное утверждение вызвало, вероятно, немалое удивление и протест у совершенно незнакомого с фрейдизмом читателя. Откуда у ребенка безнравственные желания?

Сексуальное влечение, или *libido* (половой голод), присуще ребенку с самого начала, оно рождается вместе с ним и ведет непрерывную, только иногда ослабляющуюся, но никогда совсем не угасающую жизнь в его теле и психике. Половое созревание — это только этап в развитии *libido*, но отнюдь не начало¹.

На ранних ступенях развития, именно тех, когда принцип реальности еще слаб и принцип наслаждения с его «все позволено» господствует в психике, сексуальное влечение характеризуется следующими основными особенностями:

1. Гениталии (половые органы) еще не стали организующим соматическим центром источников влечения; они являются только одной из эрогенных зон (сексуально возбудимых частей тела) и с ними успешно конкурируют другие зоны, как-то: полость рта (при сосании); anus, или анальная зона (заднепроходное отверстие), — при выделении кала (дефекации); кожа; большой палец руки или ноги при сосании и пр.². Можно сказать, что *libido* рассеяно по всему организму ребенка, и любой участок тела может стать его соматическим источником. Так как примат гениталий, все и вся подчиняющих своей власти и контролю в период полового созревания, еще не имеет места, мы можем этот первый этап назвать *догенитальным периодом развития libido**.

2. Сексуальные влечения ребенка не достигают полной самостоятельности и дифференцированности и тесно примыкают к другим потребностям и процессам их удовлетворения: к процессу питания (сосание груди), к уринированию, к дефекации и проч., придавая всем этим процессам сексуальную окраску.

3. Сексуальное влечение удовлетворяется на собственном организме и не нуждается в объекте (в другом человеке), что ясно из предшествующих пунктов: ребенок *автоэротичен*.

4. Половая дифференциация *libido* еще зыбка (нет примата гениталий); на первой стадии половое влечение *бисексуально* (двуполое).

5. Ребенка можно назвать *полиморфно* (многообразно) *извращенным*; это вытекает из предшествующего: он склонен к гомосексуализму, так как он бисексуален и автоэротичен; он склонен к садизму, к мазохизму и к другим извращениям, так как его *libido* рассеяно по всему телу, может соединиться с любым процессом, и органическим ощущением.

Наименее понятен ребенку именно нормальный половой акт⁴.

¹ Freud. «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie».

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Таковы основные, черты инфантильной (детской) эротики.

Из сказанного становится ясным, какой громадный запас желаний и связанных с ними представлений и чувств рождается на почве детского libido и подвергается затем беспощадному вытеснению в бессознательное.

Самым важным событием этой вытесненной части истории детской сексуальной жизни является ирикрепление libido к матери и связанная с этим ненависть к отцу, так называемый *Эдипов* комплекс*. Этот комплекс — центральный пункт всего фрейдистского учения. Сущность его сводится к следующему: первым объектом эротического влечения человека, — конечно, в смысле инфантильной выше охарактеризованной нами эротики — является его мать. Отношения ребенка к матери сексуализованы с самого начала¹. По мнению Отто Ранка, даже пребывание зародыша в материнском чреве носит либидинозный характер, и собственно с акта рождения, первого и самого тяжелого отделения libido от матери, разрыва единства с нею, и начинается трагедия Эдипа. Но libido все снова тянется к матери, сексуализуя каждый акт ее ухода за ребенком к заботы о нем: кормление грудью, купанье, помощь при дефекации и пр. При этом неизбежны прикосновения к гениталиям, пробуждающие в ребенке приятное чувство, а иногда и первую эрекцию²; ребенок тянется в постель к матери, к ее телу, а *смутная* память организма влечет его к uterus'у матери, к возвращению назад, в этот uterus, т.е. ребенка органически влечет к *инвесту* (кровосмесительству)³. Рождение инцестуозных, желаний, чувств и представлений при этом неизбежно. Соперником в этих влечениях маленького Эдипа становится отец, этот страж материнского порога. Он владеет матерью в том смысле, какой ребенок может смутно угадать своим телом. Отец, наконец, активно вмешивается, становится помехой в отношениях ребенка и матери: не позволяет брать его в постель, заставляет быть самостоятельным, обходиться без материнской помощи и проч. Отсюда ненависть к отцу, инфантильное желание его смерти, которая позволила бы ребенку нераздельно владеть матерью. Почти полное господство принципа наслаждения дает широкий простор как инцестуозным, так и враждебным стремлениям и помогает выработке связанных с ними разнообразных чувств, образов и желаний.

Принцип реальности, голос отца с его запретами, становящийся голосом совести, — вступают в борьбу с инцестуозными влечениями и вытесняют их в бессознательное, подвергая амнезии, забвению весь эдипов комплекс: мы обыкновенно ничего не помним, что было с нами до 4-летнего возраста. На место вытесненных влечений рождается страх, что при интенсивности эдипова комплекса может привести к детским фобиям (нервное заболевание страха)⁴.

¹ Об этом Фрейд «Толк. сновид.» (1913) стр. 201 и ел., затем «Drei Abhandlungen», а также работы Jung. «Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen» и O. Rank. 1) «Incestmotiv in Dichtung und Sage» и 2) «Trauma der Geburt» (1923 г.).

² Freud. «Drei Abhandlungen».

³ O. Rank. «Trauma der Geburt» (1923).

⁴ Freud. «Geschichte der Fobie eines 5-jährigen Knaben» (kl. Schrift. 3. Folge., стр. 1 и след.).

Это первое доисторическое событие жизни человека имеет, по Фрейдизму, громадное, прямо решающее для всей последующей жизни значение. Эта первая любовь и эта первая ненависть человека останутся навсегда самыми цельно-органическими чувствами его жизни. В этом своем качестве они не будут превзойдены никакими последующими отношениями. По сравнению с этой забытой первой любовью, которой предшествовало полное органическое единство с ее объектом — матерью, — новые отношения, проходящие в свете сознания, представляются чем-то поверхностным, головным, не захватывающим самых глубин организма. Ранк прямо считает все последующие жизненные отношения только суррогатом этих первых; будущий coitus — только частичной компенсацией потерянного внутриутробного состояния¹. Все события взрослой жизни заимствуют свою психическую силу от этого первого, отброшенного в бессознательное, события, и горят только заемным светом. В дальнейшей жизни человек разыгрывает все снова и снова — конечно, не сознавая этого — с новыми участниками это первичное событие Эдипова комплекса, перенося на них свои вытесненные, и потому вечно живые (в бессознательном ничто не изживается) чувства к матери и к отцу. Фрейд, вообще более осторожный, полагает, что судьба любовной жизни человека зависит от того, насколько ему удастся освободить свое libido от фиксации (прикрепления) на матери; первый объект юношеской любви бывает похож на мать². Образ матери может сыграть роковую роль в развитии libido: страх инцеста, сделавший для сознания любовь к матери нарочито духовной, любовью-уважением, совершенно не совместимой даже с самой мыслью о чувственности, — тесно срастается со всяким уважением, со всякой духовностью, и это часто делает невозможным coitus с уважаемой и духовно любимой женщиной (образ матери как причина психической импотенции). Все это приводит к роковому разделению единого libido на два потока — на чувственную страсть и духовную привязанность — не соединимых на одном объекте³.

Эдипов комплекс — центральное солнце системы бессознательного — стягивает к себе меньшие группы вытесненных психических образований, приток которых продолжается на протяжении всей жизни человека. Культура и культурный рост индивидуума требуют все новых и новых вытеснений; но в общем можно сказать, что главную массу — основной фонд бессознательного — составляют инфантильные влечения и притом сексуального характера.

Влечений «я» Фрейд почти совершенно не исследует. Их вклад в бессознательное представляется крайне ничтожным. Можно указать только на агрессивные (враждебные) влечения, принимающие в детской психике с ее «все позволено» достаточно свирепый характер. Своим врагам ребенок редко желает чего-нибудь меньше смерти. Смертные приговоры по самым эгоистическим основаниям и по ничтожным поводам выносятся всем близким лицам, особенно младшим сестрам и братьям, соперникам

¹ O. Rank. «Trauma der Geburt».

² Freud. «Zur Psychologie des Liebeslebens» (Kl. Schrift., 4. Folge).

³ Ibid.

в любви к матери и к отцу. Сколько мысленных убийств совершается из-за игрушек! Конечно, «смерть» в инфантильном представлении имеет очень мало общего с нашим понятием о смерти. Это — просто уход куда-то, устранение мешающего лица (по О. Ранку, смерть имеет и положительный эмоциональный оттенок для ребенка и дикаря: возвращение в утробу матери).

Таково содержание системы бессознательного.

Можно, резюмируя, определить бессознательное так: сюда входит все, что мог бы сделать организм, если бы он был предоставлен чистому принципу наслаждения, если бы он не был связан принципом реальности и культурой, и что он действительно пожелал и лишь в ничтожной степени выполнил в ранний инфантильный период жизни, когда давление реальности и культуры было значительно слабее, когда человек был свободнее в проявлении своего истинного, органического самодовления.

III

Но откуда мы узнаем о бессознательном, да еще так подробно об его содержании? Другими словами, на чем держится это изложенное нами учение о бессознательном, какими методами оно добыто и в чем гарантии их научной основательности?

Говоря о ранней концепции бессознательного у Фрейда, мы отметили, что методический путь к нему лежал через сознание. Это же приходится повторить и об его зрелом методе¹. Сущность его сводится к *интерпретирующему* (истолковывающему) *анализу некоторых образований* сознания особого рода, поддающихся сведению к их бессознательным корням. На этих особых образованиях необходимо остановиться подробнее.

Бессознательному, как мы знаем, закрыт прямой доступ в сознательное и предсознательное, у порога которого функционирует цензура. Но вытесненные влечения не умирают, вытеснение не может лишить их активности, энергии, и они снова стремятся пробиться в сознание. Сделать это может вытесненное влечение только путем *компромисса* и *искажения*, достаточного, чтобы обмануть бдительность цензуры. Эти искаженные психические образования слагаются в бессознательном и отсюда беспрепятственно проникают через обманутую искажением цензуру в сознание и только уже здесь их находит исследователь и подвергает, как мы сказали, интерпретирующему анализу.

Все эти компромиссные образования, опору фрейдовского метода, можно подразделить на две группы: *патологические* образования — симптомы, бредовые идеи, патологические явления обыденной жизни, как-то: забвение имен, обмолвки, описки и пр., — и *нормальные*: сновидения, мифы» образы художественного творчества; философские, социальные и политические идеи, т.е. вся область идеологий. Границы этих двух групп — зыбкие.

Самое замечательное исследование Фрейда посвящено сновидениям. Методы истолкования Фрейдом образов сна стали классическими и об-

¹ «Все наше знание постоянно связано с сознанием. Даже бессознательное мы можем узнать только путем превращения его в сознательное» («Я и Оно», 1924, Ленинград, стр. 14).

разцовыми для всех других областей исследования компромиссных образований.

В сновидении Фрейд различает два момента: *явное содержание* (manifestes Inhalt) сна, т.е. те образы сновидения, взятые обычно из различных впечатлений ближайшего дня, которые легко вспоминаются нами, и *скрытые мысли* сна (latente Traumgedanken), боящиеся света сознания и искусно замаскированные образами явного содержания¹. Как проникнуть к этим скрытым мыслям, т.е. как истолковать сновидение? Для этого предлагается *метод свободного фантазирования* (freie Einfälle) по поводу образов разбираемого сна². Надо дать полную свободу своей психике, ослабить все задерживающие, критикующие и контролирующие инстанции: пусть в голову приходит все что угодно, самые нелепые мысли и образы, не имеющие на первый взгляд никакого, даже самого отдаленного, отношения к разбираемому сновидению; надо всему дать доступ в сознание, надо стать совершенно пассивным и только ловить все то, что свободно возникает в психике.

Приступая к такой работе, мы сейчас же заметим, что она встречает сильное *сопротивление* нашего сознания; рождается какой-то внутренний протест против предпринятого толкования сна, принимающий различные формы: то нам кажется, что явное содержание сновидения и так понятно, не нуждается в особом объяснении, то наоборот — что сон настолько абсурден и нелеп, что никакого смысла в нем нет и быть не может. Наконец, мы критикуем приходящие нам в голову мысли и представления, подавляем их в момент возникновения как не имеющие отношения к сновидению, как совершенно случайные. Другими словами, *мы стремимся сохранить и выдержать точку зрения легального сознания*, ни в чем не отступить от законов этой высшей психической территории. Сопротивление нужно преодолеть, чтобы пробиться к скрытым мыслям сна, — ведь именно оно, т.е. это переживаемое нами теперь сопротивление, и есть та сила, которая в качестве бессознательной цензуры привела к искажению истинное содержание сна, превратив его в явные образы сновидения, эта сила тормозит и теперь нашу работу, она же — причина легкого и быстрого забвения снов и их произвольных искажений при попытках припомнить³. Но наличие этого сопротивления — важный показатель: где оно есть, там бесспорно есть и вытесненное в бессознательное влечение, стремящееся пробиться в сознание; потому-то и мобилизована сила сопротивления. Компромиссные образования, т.е. явные образы сновидения, и замещают это вытесненное влечение в единственно допустимой цензурой форме.

Когда сопротивление во всех его многообразных проявлениях, наконец, преодолено, проходящие через сознание свободные мысли и образы — по-видимому, случайные и несвязанные — оказываются звеньями той цепи, по которой можно добраться до вытесненного влечения, т.е. до скрытого содержания сна. Это содержание оказывается *замаскирован-*

¹ Фрейд. «Толкование сновидений» (Москва, 1913 г.), стр. 80 и след.

² Ibid., стр. 83-87.

³ Ibid., стр.101 и ел.

ным исполнением желания¹, в большинстве случаев эротического и часто инфантильно-эротического. Образы явного сновидения оказываются замещающими представлениями — символами — объектов желания, или, во всяком случае, имеют какое-либо отношение к вытесненному влечению. Законы образования этих символов, замещающих объекты вытесненного влечения, очень сложны. Определяющая их цель сводится, в основных чертах, к следующему: с одной стороны, сохранить какую-нибудь, хотя бы отдаленную, связь с вытесненным представлением, а с другой, — принять вполне легальную, корректную, приемлемую для сознания форму. Это достигается слиянием нескольких образов в один смешанный; введением ряда посредствующих образов — звеньев, связанных как с вытесненным представлением, так и с наличным во сне — явным; введением прямо противоположных по смыслу образов; перенесением эмоций и аффектов с их действительных объектов на другие, безразличные подробности сна; превращением аффектов в свою противоположность². Мы не можем подробнее входить в эту работу сна. Отметим здесь только, что, по Фрейду, законы образования сновидений те же, что и законы образования мифов и художественных образов (миф можно определить как коллективный сон наяву).

На основе большого материала снотолкования и с привлечением к делу образов фольклора можно построить развитую типологию символов сновидения. Эта работа частично выполнена Штекелем³.

Но какое значение имеют эти замещающие образы — символы сна, мифов и художественного творчества, эти компромиссы сознания с бессознательным, дозволенного с недозволенным, но всегда желанным?

Они служат отдушинами для вытесненных влечений, позволяют частично изживать бессознательное и этим очищать психику от накопившихся в глубине ее подавленных энергий. Творчество символов — частичная компенсация за отказ от удовлетворения всех влечений и желаний организма под давлением принципа реальности; это — компромиссное, частичное освобождение от реальности, возврат в инфантильный рай с его «все позволено» и с его галлюцинаторным удовлетворением желаний. Самое биологическое состояние организма во время сна есть частичное повторение внутриутробного положения зародыша: мы снова разыгрываем это состояние (конечно, бессознательно), разыгрываем возврат в материнское лоно: мы раздеты, мы укутываемся одеялом, поднимаем ноги, сгибаем шею, т.е. воссоздаем положение зародыша; организм замыкается от всех внешних раздражений и влияний; наконец, сновидения частично восстанавливают власть принципа наслаждения.

С подобным методом и с подобными результатами Фрейд подвергает анализу другие типы компромиссных образований. Конечно, главное для Фрейда — психопатологические явления, и можно сказать заранее, что в этой именно области надо искать наиболее ценных практических достижений психоанализа. Недаром многие протестуют против расширения

¹ Ibid., стр. 110 и сл.

² Ibid., стр. 233 и сл.

³ Stekel. «Symbole des Traums».

его за пределы психиатрии, считают, что он прежде всего, а может быть и исключительно, продуктивный психотерапевтический метод, рабочая гипотеза, подкрепленная практическим успехом в области лечения неврозов. Но эта сторона психоанализа нас здесь интересует менее всего. Конечно, не терапевтические успехи вызвали громадный, интерес к психоанализу и завоевали внимание широкой публики, совершенно чуждой медицине, не умеющей отличить психоза от невроза. Нам важен именно выход психоанализа за пределы психиатрии в область идеологии¹.

Сам Фрейд применил метод толкования снов и невротических симптомов прежде всего к эстетическим явлениям шутки и остроты². Формой острот управляют те же законы которые создают формальную структуру образов сна, — законы образования замещающих представлений: тот же механизм обхода легального путем слияния представлений и слов, замены образов, словесной двусмысленности, перенесения значения из одного плана в другой, смещения эмоций и проч. Тенденция шутки и остроты — обойти реальность, освободить от серьезности жизни и дать выход вытесненным инфантильным влечениям, сексуальным или афрессивным. Сексуальные остроты родились из непристойности как ее эстетическая замена. Что такое непристойность? — Суррогат сексуального действия, полового удовлетворения. Непристойность рассчитана на женщину, на ее присутствие, хотя бы воображаемое. Она хочет приобщить женщину к сексуальному возбуждению. Это — прием соблазна. Называние непристойных предметов и есть суррогат их видения, показывания или осзания. Облачившись в форму остроты, непристойность еще более маскирует свою тенденцию, делает ее приемлемее для культурного сознания. Хорошая шутка нуждается в слушателе, цель ее не только обойти запрет, но и подкупить этого третьего, подкупить смехом, создать в смеющемся союзника и этим как бы социализировать грех.

В агрессивных остротах находит себе освобождение, под прикрытием художественной формы, инфантильная вражда ко всякому закону, установлению, государству, браку, на которые переносится бессознательное отношение, к отцу и отцовскому авторитету (эдипов комплекс), и, наконец, враждебность ко всякому другому человеку (инфантильное самодовление). Таким образом, и острота — только отдушина для подавленных энергий бессознательного, т.е. и она служит в конечном счете этому бессознательному и им управляется. Его нужды создают и форму и содержание остроты, что, конечно, служит на пользу и всему организму.

И так — во всех областях идеологического творчества!

Все идеологическое вырастает из тех же психоорганических корней, и к ним может быть сведен без остатка весь его состав, форма и содержание. Каждый момент идеологического строго детерминирован биопсихологически. Оно — компромиссный продукт борьбы сил внутри организма,

¹ *Ferenczi und Rank*. «Entwicklungsziele der Psychoanalyse», стр. 57 и ед. — Из этой книги ясно видно, что психотерапевтический метод психоанализа стремится выйти из своей изоляции: восстанавливается в своих правах гипноз и признается необходимость сотрудничества с другими методами.

² *Freud*. «Der Witz».

показатель достигнутого в этой борьбе равновесия или перевеса одной над другой. Так, невротический симптом или бредовая идея, совершенно аналогичные/ по Фрейду, идеологическим образованиям, знаменуют перевес бессознательного или опасное обострение борьбы.

Сам же Фрейд применил свой метод к изучению религиозных и социологических явлений¹. На них мы останавливаться не будем. Несколько слов о выводах его в этих областях исследования мы скажем после. Теперь мы должны перейти к нашей главной задаче: к критической оценке методов и основоположений фрейдизма, как они выяснились нам из всего сказанного.

IV

Первый и основной вопрос: можно ли признать метод Фрейда объективным?

Фрейд и фрейдисты полагают, что они совершили коренную реформу старой психологии, что ими заложено основание совершенно новой науки о психическом.

К сожалению, ни Фрейд, ни фрейдисты никогда не попытались выяснить сколько-нибудь точно и подробно свое отношение к современной им психологии и практикующимся в ней методам. Это — большой недостаток фрейдизма. Психоаналитическая школа, подвергавшаяся сначала дружной травле всего ученого мира, замкнулась в себя и усвоила несколько сектантские навыки работы и мышления, не совсем уместные в науке. Фрейд и его ученики цитируют только себя и ссылаются только друг на друга; в более позднее время начали цитировать еще Шопенгауэра и Ницше. Весь остальной мир для них почти не существует².

Итак, Фрейд ни разу не сделал серьезной попытки размежеваться с другими психологическими направлениями и методами: не ясно его отношение к интроспективному методу (самонаблюдение); к лабораторно-экспериментальному; к новым попыткам объективных методов — так называемого американского behaviorism'a (психология как наука о поведении); к вюрцбургской школе (Мессер и др.)» к функциональной психологии (Штумф и др.) и проч. Невыясненной остается и позиция Фрейда в знаменитом споре, волновавшем его современников — психологов и философов — о психофизическом параллелизме и психофизической причинности³.

Когда Фрейд и его ученики противопоставляют свою концепцию психического всей остальной психологии, — увы, не давая себе даже труда дифференцировать эту остальную психологию, — они обвиняют ее в од-

¹ Freud. «Totem und Tabu» и «Massenpsychologie und Ich-Analyse» (1921 г.).

² Нужно сказать, что и официальная наука до сих пор не вполне легализовала фрейдизм, а в академических философских кругах говорить о нем считается даже дурным тоном. См. Wittels. «Zigmund Freud, der Mann, die Schule, die Lehre» (1924 г.).

³ Сам Фрейд допускает психофизическую причинность, но в то же время на каждом шагу выдает навыки параллелиста; кроме того, весь его метод базируется на скрытой невысказанной предпосылке, что всему телесному можно подыскать соответствующий психический эквивалент (в бессознательной психике), а потому и можно отбросить непосредственно телесное, работая только с его психическими заместителями.

ном: *в отождествлении психического и сознательного*. Для психоанализа же сознательное — только одна из систем психического¹.

Может быть, это отличие психоанализа от остальной психологии, действительно, настолько велико, вырывает такую бездну, что между ними уже не может быть ничего общего, не может быть даже того минимума общего языка, который необходим для сведения счетов и для размежевания? — Фрейд и его ученики, по-видимому, в этом убеждены.

Но так ли это?

Увы, на самом деле фрейдизм перенес в свои построения все пороки современной ему субъективной психологии, а в некоторых отношениях оказался даже не на высоте современной ему «психологической науки». В этом легко убедиться — надо только не дать себя обмануть его сектантской, но в общем яркой и меткой терминологией.

Прежде всего, фрейдизм догматически усвоил старое, идущее от Тенниса и, благодаря Канту, ставшее общепринятым, разделение душевных явлений на волю (желания, стремления), чувство (эмоции, аффекты) и познание (ощущения, представления, мысли); притом он сохраняет те же определения этих способностей, какие были в ходу в психологии его времени, и, как видим, ту же дифференциацию. В самом деле, психоанализ повсюду оперирует желаниями, — вспомним, хотя бы, фрейдовское утверждение, что сон есть исполнение желания; ведь это — основа снотолкования — этой основы всего фрейдизма. Оперирует психоанализ и представлениями и ощущениями, чувствами и эмоциями как *твердыми, несводимыми друг на друга психическими элементами*. Далее — и это главное — все эти психические элементы с их ходячим значением Фрейд с совершенно уже непонятным догматизмом переносит в область бессознательного. *И бессознательное состоит у него из представлений (воспоминаний — копий ощущений), из эмоций, аффектов, желаний! Бессознательное строится Фрейдом по аналогии с сознанием, притом эта аналогия выдержана до мельчайших подробностей.*

Конечно, остается топографическое различие между системами, т.е. различие по месту их нахождения *в образно представленном аппарате психического*: сознание помещается у сенсорных центров, бессознательное же на противоположном конце аппарата². Остается и их динамическое взаимоотношение: бессознательное — вытесненное, забытое, отброшенное. Но, несмотря на это, мы можем сказать, что эти два психических образования, находящиеся в разных местах и враждебно друг с другом борющиеся, совершенно аналогичны по своему научно-психологическому составу. — Просто две составленных из одних и тех же элементов силы столкнулись между собой. Чем это отличается от «double conscience» (двойное осознание) Шарко? — Только динамикой.

Итак, *с точки зрения элементарного состава* (т.е. если мы отвлечемся от содержания мыслей, чувств, представлений и пр.) — *бессознательное можно назвать другим сознанием, не менее сложно дифференцированным.*

¹ Фрейд. «Толков, сновид.», стр. 440-448 и «Я и Оно», стр. 7-12.

² См. чертежи Фрейда в «Толков, сновид.», стр. 384-388 и «Я и Оно», стр. 21.

Где же бездна между психоанализом и субъективной психологией, не только современной, но и старой? Вынесем за скобки «бессознательное» и «сознание», — и в скобках окажется старая, хорошо нам знакомая «душевная жизнь» с ее чувствами, желаниями, представлениями и связями между ними (ассоциациями), т.е. весь тот материал, с которым оперировала и оперирует субъективная психология; у нее-то и взял его Фрейд и только подновил своей динамикой. Но ведь когда субъективная психология вырабатывала все эти понятия, она базировалась на отождествлении психического с сознательным! Может быть только при таком отождествлении эти понятия и имеют какой-нибудь смысл, т.е. годятся только для сознания?

В самом деле, есть ли у нас серьезные основания предполагать в бессознательном *раздельное* существование представлений, желаний и чувств, да притом еще совершенно *определенных по своему качеству и предметному содержанию*? Не лучше ли предположить, что «нечто бессознательное» — скажем, какая-нибудь энергия — принимает эти дифференцированные формы только уже войдя в сознание и только для сознания, т.е. только для *внутреннего самонаблюдения* (интроспекции), она впервые становится определенным желанием, предметным представлением и чувством. Думается нам, что это именно так. Под бессознательным мы вправе понимать только *нечто действенное* — энергию, силу (может быть психическую, а может быть соматическую) — что, проникнув в сознание, принимает уже в нем и только для него те формы и то содержание (пусть для самого наблюдающего себя субъекта смутные, а для интерпретирующего врача более отчетливые), которые фрейдизм некритически *проецирует* потом в свое так называемое «бессознательное». При этом проецировании создается чрезвычайно сложный, многообразный, предметно дифференцированный мир вещных представлений, ярких образов, сложнейших отношений между ними, отчетливых желаний (бессознательное желание знает, чего оно хочет, только сознательное желание может заблуждаться в этом отношении!) и проч.

Мы полагаем, что только такое допущение есть то необходимое наименьшее количество гипотезы, которое достаточно для объяснения всех действительных эмпирических фактов человеческого поведения, установленных Фрейдом и его учениками. А ведь наука и может допустить только минимум гипотез.

Что представляет собою это «нечто действенное, соответствующее фрейдовскому бессознательному»?

Не попасть бы из огня да в полымя, и вместо фрейдовского «Оно» не придумать бы метафизической субстанции пострашнее!

Читатель может быть совершенно спокоен, мы не склонны здесь допускать даже психической энергии в недифференцированном виде; мы полагаем, что здесь действуют механизмы, однородные с теми, которые стали нам хорошо известны под названием *рефлексов* (ак. Павлов и его школа), отчасти *тропизмов* (Леб) и других химизмов, одним словом, процессы чисто соматические, материальные. Во всяком случае, только в этой плоскости могут лежать научные определения фрейдовских явлений бессознательного. Пока, конечно, мы еще не можем сполна перевести их

на этот научный материалистический язык, но мы по крайней мере уже и теперь знаем, в каком направлении может быть сделан этот перевод.

Из сказанного нами, конечно, не следует, что психического вообще нет (Эпчмениада), или что оно недоступно науке, или наконец, что его должно отождествлять с сознанием, как это делала старая психология. Психическое, конечно, есть. Никакой агностицизм для марксизма недопустим. Нет никаких оснований отождествлять психическое с сознательным. Но нет также никаких оснований делить психику на две сферы по принципу сознательности, как это делает фрейдизм: на сознательное и бессознательное. Конечно, мы вольны подразделять психику как нам угодно: на сознание и не-сознание, совершенно так же, как на чувства и не-чувства, на желание и не-желание (принцип дихотомии). Но ведь не-чувства не есть бесчувственное, не-желание не есть ведь нежелание (нежелание что-нибудь сделать). И мы утверждаем, что не-сознание научной психологии (психологии поведения, единственной научной главой которой является пока только рефлексология) ни в чем не будет похоже на фрейдовское бессознательное; не будет как раз того ценностного эмоционального оттенка, который только и делает возможными такие противопоставления — как «я и мир», «я и оно», «наслаждение и реальность», «сознательное и бессознательное» и т.п., и которому в науке не место.

Бессознательное по самому определению неизбежно окажется враждебным сознанию; не-сознательное же совершенно не предрешает того, в каком отношении оно окажется к сознательному в психике¹. О двух мирах, двух системах, во всяком случае, не может быть речи. Для подобных гипотез en masse нет никаких оснований.

Но вернемся к фрейдовскому бессознательному. Остановимся на некоторых, чрезвычайно любопытных моментах этой гипотезы, подтверждающих наше предположение о том, что мы здесь имеем дело с грандиозной проекцией сознательной психики плюс ее интерпретации (аналитиком совместно с анализируемым) — в quasi-бессознательное, а на самом деле в соматическое.

Обратим внимание на работу цензуры. По Фрейду, цензура совершенно бессознательна (она, как известно, находится на границе бессознательного и предсознательного)². Фрейд часто говорит об ее механизме. Но как тонко этот бессознательный механизм (чего же более механического, механичнее машины, которую создало человеческое сознание!) угадывает все оттенки мыслей, представлений, тончайшие детали образов

¹ Шрейд, по-видимому, сам понимает, что его бессознательное тенденциозно (включает оценку скрытого метафизического порядка) и пытается несколько ослабить его в своей, последней работа («Я и Оно», стр. 15 и след.), определяя бессознательное как не-словесное; оно превращается в предсознательное (откуда всегда может перейти в сознание) «посредством соединения с соответствующими словесными представлениями». Это близко к определению сознания behaviorist'a МН как «вербализованного поведения». — См. *Выгодский*. «Сознание как проблема психологии поведения» («Психология и Марксизм» под ред. Корнилова).

² См. «Я и Оно», стр. 13-14.

и проч.! Да по сравнению с ней любой цензор николаевской эпохи даже не механизм, а просто кусок дерева¹.

Конечно, фрейдовская «цензура» гораздо сознательнее сознания больного, ведь она усилена еще сознанием психоаналитика! Не только термин «цензура», но весь влагаемый в него Фрейдом смысл оказывается, таким образом, сплошь метафорическим. Это — полухудожественный образ, не более (практически он, может быть, при некоторых условиях, очень полезен). Это — сознание (да еще усиленное вторым, анализирующим сознанием), проецированное куда-то в глубину психики.

А другие фрейдовские механизмы, что в них механического?

Механизм *вытеснения* не только биологически целесообразен, но и культурно чрезвычайно компетентен и осведомлен; правда, он несколько узко буржуазно-морально настроен, притом даже тогда, когда проецируется в психику дикаря или древнего грека вроде мифического Эдипа и др., но вообще все-таки находится на высоте современной культуры и ее требований. Всюду мы видим работу сознания, интерпретирующего несознательное, а часто и вообще не-психические процессы, — и «вчувствующего» эту свою работу в изучаемые явления подобно тому, как мы чувствуем прикосновение пера к бумаге. Ведь, на самом-то деле мы можем чувствовать только давление деревянной ручки на пальцы руки; но мы проецируем это наше ощущение в кончик пера. Следует заметить, что мы писали бы очень плохо, если б не совершали этого вчувствования (т.е. не ощущали бы кончика пера); вчувствование практически может быть очень полезным.

Механизм *перенесения* (Übertagung) особенно показателен. Перенесение — очень важный момент в психоаналитической теории и в практике; под ним Фрейд понимает бессознательное перемещение вытесненного влечения, главным образом libido, со своего прямого объекта на другой — замещающий: так, влечение к матери или к отцу или вражда к ним (Эдипов комплекс) переносятся на врача во время психоаналитических сеансов и таким путем изживаются (в этом и значение «перенесения» для психотерапевтической практики). В жизни мы только и делаем, что переносим свое вытесненное libido на других людей, бессознательно заставляем их разыгрывать для нас роли отца, матери, сестер и братьев. Это какой-то круговорот, вечное возвращение одного и того же положения, напоминающее учение Ницше или неудовлетворимую «волю» Шопенгауэра.

Не правильнее ли будет, однако, сказать, что врач и больной совместно усилиями только проецируют в бессознательный комплекс (отцовской или материнский) свои настоящие, лечебные отношения (точное, некоторые моменты или общую схему их, так как отношения эти очень сложны). Кое-что из комплекса при этом угадывается верно, кое-что действительно вспоминает больной, кое-что объясняется сходством положения (т.е. не перенесение создает сходство, а наоборот — сходство положения заставляет говорить о перенесении), кое-что, наконец, — и, может быть, это самое важное, — объясняется органической

¹ На это указывает β./Орнынь в своей статье и D-г Maag в своей книге: «Geschlechtsleben und seelische Störungen» (Beiträge zur Kritik der Psychoanalyse).

конституцией больного, которая, являясь величиною, в известных пределах, устойчивою, придает сходную окраску всем положениям, в каких этот больной оказывается в течение своей жизни. Таким образом, фрейдистский механизм перенесения сконструирован как метафора, позволяющая в одном динамическом образе обнять все эти разнородные моменты, определяющие целостное поведение больного. Эта метафора, по-видимому, для психотерапевтической практики полезна.

Повторяем: фрейдизм, во многих случаях, оперирует реальными величинами человеческого поведения и практически умеет среди них ориентироваться, но действительных научных методов их теоретического познания он пока не нашел.

Методом его остается, таким образом, старый метод субъективной психологии: самонаблюдение (со всем его пристрастием, у невротиков преимущественно *покаянным*) и его интерпретация. Новым является грандиозная метафорическая концепция душевной динамики, за которой скрывается в большинстве случаев материальная динамика не изученных пока наукой соматических процессов¹, но динамика эта («механизм») преподносится нам Фрейдом на старом языке субъективного сознания.

V

Как трактует Фрейд определяющие субъективную психику объективные материальные моменты: соматические, биологические, социологические?

Фрейда некоторые считают материалистом. Подобное утверждение основано на совершенном недоразумении. Фрейд, правда, все время говорит о соматическом моменте, например: о соматических источниках влечений, об эrogenных зонах нашего организма и проч. Самый пансексуализм, по-видимому, сближает психику с телом. Материалистическими могут показаться и такие стороны фрейдизма как учение о характерах — анальном и уринальном. Характер, представлявший старо-идеалистической психологии чем-то духовным, этическим, определяется, по Фрейду, доминированием той или иной эrogenной зоны (анальной или уринальной), сексуально окрашенным задержанием кала или мочи и выработкой, в связи с этим, общих душевных навыков и оценок².

Но, взглядевшись пристальнее в обращение психоаналитиков с этими соматическими моментами, неизбежно приходим к выводам, что материализм их совершенно мнимый. Фрейд и фрейдисты совсем не имеют дела с соматическим и материальным как таковым, как с определяющей психику внешней реальностью, изучаемой физиологией и другими областями естествознания.

Фрейд совершенно не интересуется чисто объективным, материальным составом и материальными процессами соматического, — но исключительно его субъективным значением для психики и старается определить это значение изнутри самой психики. Ему важно только *отражение соматического в душе*, чем бы оно ни было, на самом деле, вне этой души, т.е. для объективных методов естественнонаучных дисциплин

¹ Отчасти и отражение процессов, протекающих вне организма.

² См. Фрейд. «Kleine Schrift, zur Neurosen lehre». 2. Folge. «Charakter und Analerotik».

(действительно материалистических). Таково именно и знаменитое учение Фрейда об эrogenных зонах: он не дает нам физиологии этих зон и не опирается, в порядке разделения труда, на какую-нибудь определенную физиологическую теорию их; его не интересуют химизм этих зон и проч. Его интересует только *психический* (а потому, неизбежно, субъективно-психический) *эквивалент* этих зон, место их в психоаналитически понятом *libido*.

Фрейд ничего не говорит и о роли гениталий в *материальном организме* человека на объективном языке физиолога и биолога, (учитывающих, конечно, и социальный момент), он выясняет только роль их психических эквивалентов в субъективной психике изнутри ее самой, т.е. на языке субъективной психологии.

Да, мы можем смело сказать, что для Фрейда *материальное существует только в переводе на психическое и даже более: только как момент психического*. А это уже становится похожим на спиритуализм. И действительно, от спиритуализма фрейдизм отстоит не дальше, чем на один шаг. Реальность для него — только психический «принцип реальности», т.е. для него существует только психическая изнанка ее.

Сами фрейдисты дают этому несколько иное словесное выражение: они утверждают (Rank, Pfister, особенно Groddeck), что мир Фрейда не психический и не материальный, что это нечто третье, что Фрейду удалось нащупать область таких образований, где физическое и психическое еще не обособились, не стали самостоятельными и специфическими. Такой пограничный, нейтральный характер носят, якобы, фрейдовские «влечения».

Нам кажется, что такие пограничные и центральные образования очень опасны: ведь нейтральность их мнимая! И, действительно, Фрейд не оставляет никаких сомнений в истинном направлении своей органической тяги: его тянет к спиритуализму в его новой биологической формации (другой современный представитель этого направления — Дриш).

Мы подошли, таким образом, к биологизму Фрейда.

Многие утверждают, что психоанализ есть, в сущности, биология психического — биология души.

Действительно, биологические понятия и термины наводняют психоаналитические работы. Но, введенные во фрейдистский контекст, эти термины утрачивают свое обычное биологическое значение, как бы теряют свой основной тон и переносят в него только свои обертоны. С биологическим дело обстоит так же, как и с физическим: оно разбавляется субъективно-психическим, пропитывается им насквозь и теряет свою материальную, объективную твердость.

Объективно-биологический организм в психоанализе только играет роль в руках субъективных влечений души.

Свои знаменитые «влечения» Фрейд выделяет сначала, по-видимому совершенно объективно-биологически как один из моментов материальной реальности и в тесной зависимости от окружающей среды; но далее, шаг за шагом, вся реальность оказывается сама лишь моментом влечений — именно влечений «я» — лишь психическим «принципом реальности», введенным в один план, в одно измерение с «принципом наслаждения».

*Фрейд психологизовал организм и все органические процессы. О социологическом у Фрейда приходится сказать то же самое. И оно сплошь определяется индивидуально-психическим моментом. От объективной социально-экономической необходимости не осталось и следа. Не только политические, но и экономические формы (базис) выводятся из тех же, знакомых нам, «психических механизмов»: перенесение libido на вождя племени; отчуждение «идеального я» и его идентификация (отождествление) с правителем; идентификация себя с другими членами коллектива, *создающая социальную спайку и единство без всякой опоры на материальном базисе*; сведение капитализма к анальной эротике (накопление кала сублимируется в накопление золота) — вот совершенно достоянные примеры фрейдистской социологии¹.*

Итак, повсюду одна и та же идеологическая тенденция: растворить в психике внешнюю материальную необходимость и *социальной истории противопоставить психологизованный биологический организм как самодовлеющий асоциальный микрокосм.*

Все определяющее сознание бытие оказывается внутренним бытием, а в конечном счете только опрокинутым сознанием. Правда, по сравнению с философским идеализмом оно более стихийно, более трагично — и это находится в полном согласии с духом времени, не слишком благосклонным к логическому и к рациональному, но зато оно и столь же маломатериально и малообъективно.

Мы можем теперь, окончательно определить фрейдовское бессознательное. Это — образная проекция *во внутрь, в глубину души* (психики), *материальной* (физической, физиологической и социально-экономической) *необходимости* — *своеобразно переведенной для этого на язык субъективного сознания — драматизованной и эмоционально насыщенной.*

Методы Фрейда — приемы этого своеобразного перевода, а словарь для него заимствован в основном у старой субъективной психологии.

Переместив, таким образом, искусно и почти неприметно материальные процессы (в большинстве случаев неизученные) в душу и подновив ее в духе современности «под машину» («механизмы», «динамика» и пр.), — Фрейд думает таким путем поддержать это дряхлеющее учреждение.

И это иные принимают за материалистическую диалектику!

VI

Но как пришел Фрейд к подобной проекции? И как мы объясним, при нашем утверждении, терапевтические успехи его метода, отрицать которые, конечно, не приходится?

Мы полагаем, что в корне этой грандиозной проекции находится одно конкретное событие, повторяющееся в жизни Фрейда каждый день и определившее, наконец, все навыки его мысли и даже самое мироощущение.

¹ Прекрасная критика этой «социологии» в статье В.Юринца.

Мы имеем в виду сложные отношения врача-психиатра и больного-невротика, — этот маленький социальный мирок, с его специфической борьбой, с тенденцией больного скрывать от врача некоторые моменты своей жизни, обманывать его, упорствовать в своих симптомах и пр. и пр. Это маленькое социальное явление очень сложно. Экономический базис, физиологический момент и момент буржуазно-идеологический (моральный и эстетический) — все это определяет конкретное взаимоотношение в его целом. Врач ориентируется в нем практически, нащупывает детерминирующие его реальные силы, научается управлять ими, но теоретически научно (материалистически) определить их во всей их сложности, конечно, не может (физиология неврозов почти совершенно не разработана, — нечего и говорить об их социологии). И вот, за счет этого теоретического незнания вырастает *метафора как драматизованный образ практической ориентировки* — и, как всякий образ, субъективный и относительный, хотя в данном случае полезный.

Фрейдовский механизм, в своей первой формации, — *метафорическое, драматизованное и лишь одобренное научными терминами выражение возни врача с истериком, кончающейся практической победой врача.*

В этом нет ничего удивительного, — драматическое оживление практического отношения к предмету, вовлекающее в свой круг и самый предмет, — является обычным. Артиллерист представляет себе свою пушку как живое существо. Рабочий, который иной раз лучше ученого инженера практически знает все «капризы» своей машины, не сумеет определить ее «жизнь» теоретически, но зато расскажет вам о ней живо и образно. Часто мы сталкиваемся с силами, начинаем ориентироваться в них и управлять ими — делом, руками, ногами (или словами и словесными увещаниями, если силы даны в человеческом организме и других средств нет) — задолго до возможности их научного определения. И вот, если мы пожелаем изобразить их, мы на самом деле будем определять вовсе не их, а наше обращение с ними, наши навыки, цели и действия.

Но особенно трудно уберечься от неправомерного образного мышления в области психологии. Сам язык предоставляет нам для высказывания внутренних переживаний только метафоры. Нельзя сказать о психическом двух слов, не употребив двух метафор. Здесь позже всего могут восторжествовать объективные методы познания. Можно сказать, что субъективная психология до сих пор еще находится во власти метафоры и на своей почве, т.е. в пределах субъективного метода, едва ли от нее освободится. Поэтому и не должна нас удивлять метафорическая сущность психоанализа.

Конечно, у Фрейда это *профессиональное* метафорическое ядро его учения чрезвычайно тонко облечено в научную терминологию, замаскировано и скрыто. В пределах своего профессионального применения такой образный метод до поры до времени допустим.

Но метафора, рожденная в кабинете буржуазного венского врача, оказалась на большой дороге основных идеологических устремлений разлагающейся буржуазии, оказалась удачно рожденной: в свое время и на

своем месте. И вот она начинает расти, и на наших глазах разрослась до всеобъемлющего мирозозерцания.

Психоаналитический сеанс в полутемном кабинете, с его борьбой, со всеми его драматически-живыми перипетиями, — стал символом, стал ключом к мировой динамике, к мировой драме человечества. Трагическая арена с ее Орестейей и Эдиповой трагедией сузилась до модернизованного докторского кабинета, где разыгрывается в лицах пресловутый «эдипов комплекс». Как характерен для психоанализа самый стиль этого словосочетания: комбинация научно-сухого (комплекс) с эстетико-патетическим (Эдип — и связанные с ним эстетические ассоциации в атмосфере Ницшевского «Рождения трагедии»), — точно монобль, вставленный в слепой глаз Эдипа.

Частно-личное взаимоотношение двух (врача — больного) осталось схемой для всех концепций фрейдизма: раскол организма на два полюса (влечения «я» и сексуальные влечения), в основном враждебных друг другу; раскол психики (сознание и бессознательное, «я» и «оно») и пр. При этом — эти парные силы ипостазирются, становятся лицами, ведущими между собой идеологическую борьбу. Двое — остаются прообразом и всех социальных отношений. Здесь же нужно искать один из корней фрейдовского пансексуализма. Дело в том, что «пару», как какой-то *социальный минимум*, легче всего изолировать и превратить в микрокосм, ни в ком и ни в чем не нуждающийся, — нужно только сексуализировать эту пару: с милым и в шалаше рай, и для влюбленных весь мир не существует.

Для всех эпох социального упадка и разложения характерна жизненная и идеологическая переоценка сексуального и притом неизбежно одностороннее его понимание: на первый план выдвигается отвлеченно взятая асоциальная его сторона. Сексуальное стремится стать суррогатом социального. Все люди распадаются прежде всего, а то и исключительно, на мужчин и на женщин. Все остальные подразделения представляются несущественными. Понятны и ценны только те социальные отношения, которые можно сексуализировать. Все остальное теряет свой смысл и значение. Так было перед 1789 годом, так и в эпоху римского упадка, то же мы видим и теперь в буржуазной Европе. Чрезвычайно характерная и в высшей степени интересная черта во фрейдизме — сплошная сексуализация семьи и всех без исключения семейных отношений (Эдипов комплекс). Семья — этот устой и твердыня капитализма, очевидно, экономически и социально стала мало понятной и мало говорящей сердцу, а потому и возможна ее сплошная ексуализация, как бы новое осмысление, — «остранение», как сказали бы наши «формалисты». Эдипов комплекс, действительно, великолепное остранение семейной ячейки. Отец — не хозяин предприятия, сын — не наследник; отец — только муж матери, а сын — его соперник! Но мы знаем, что, и Эдипов миф возник не на сексуальной почве (сексуальное, как и всегда, — обертон), а на экономической: мать была хозяйка (пережиток матриархата) и только рука матери давала право на престол (наследование по женской линии): сыну приходилось или уходить на сторону, или устранять отца. Только на такой почве мог родиться мотив Эдипа (Гильде-

бранд и Гадубранд в древнегерманском эпосе, Рустем и Зораб — в иранском, бой Ильи-Муромца с сыном — в русском и пр.). Фрейд сексуализировал этот мотив и с его помощью остранил семью.

Фрейдовское осмысление мира и общества путем сексуализации всех вещей и отношении попало в самую точку. Этим и объясняется его успех. Сексуализированные отношения *двух* заслонили все и вся и стали прообразом и мерилем всех других отношений. Душный мир по ту сторону социального, созидаемый современной нам буржуазной философией, неизбежно должен искать в сексуальности (отвлеченно понятой) свою, быть может, самую важную базу.

Мы можем теперь, опираясь на нашу практическую оценку основ фрейдизма, сделать некоторые выводы в применении к тем моментам, которые были выдвинуты нашим изложением: к снотолкованию и к остроте. Данная нами оценка метода и определение бессознательного позволяет нам сделать это в немногих словах.

Компромиссные или замещающие образования — образы сна, мифов и художественного творчества, действительно, не могут быть поняты путем поверхностного истолкования их сознанием. Мотивации сознания, при всей их субъективной искренности, не являются объективным объяснением каких бы то ни было идеологических построений (признаем сновидения зачаточной формой таких построений). Все моменты идеологии строго детерминированы и притом чисто материальными силами. Могут ли они быть сведены все сплошь к социально-экономическому базису и только из него объяснены, как необходимые?

Конечно, нет, — и марксизм этого никогда не утверждал¹. В идеологических построениях окажется какой-то остаток, несводимый к базису (в сновидениях он будет велик). Этот остаток должна объяснить биология, физиология и, наконец, *объективная* психология. Но, во-первых, — остаток этот ни в коем случае нельзя брать изолированно: биологическое или психологическое — лишь абстрактный момент. В конкретной идеологии он обрастает исторической и социально-экономической плотью и это касается не только образов искусства, мифа, философии, но даже и сновидений. А во-вторых, этот остаток как наиболее константный (постоянный) является наименее творческим моментом идеологии; не он определяет актуальное, живое содержание их: о слишком общем (общечеловеческом и даже общеживотном) и о слишком индивидуальном (единичном) говорят меньше всего. Одно — подразумевается, другое — неинтересно. Идеологическое построение прежде всего — социально.

Что же делает Фрейд? Не признавая сознательных мотивов как исчерпывающе объясняющих «явное содержание» образа, — с чем, конечно, нужно согласиться, — он ищет для него *чисто психической детерминанты в бессознательном* (инфантильное влечение), *определяющей идеологический образ целиком, во всех его моментах.*

¹ См. об этом подробно: *Каутский*. «Что хочет и что может дать материалистическое понимание истории» («Историч. материализм» под ред. Семковского).

В итоге — поразительный вывод: *вся культура* (не только сон) *живет почти исключительно за счет детских влечений!* Какой-то «*инфантильный базис*», всецело заменяющий, по Фрейдю, социально-экономический!

Но мы уже знаем, что такое это фрейдовское бессознательное, и потому мы можем сказать: фрейдовское «скрытое содержание» (исполненные инфантильные желания сновидений, инфантильные влечения мифов и художественного творчества и проч.) — метафорический образ некоего x , сконструированный по аналогии с сознанием (эту конструкцию мы уже изучили). Искомое χ — материальная необходимость: *социально-экономическая*, физиологическая, биологическая и *объективно-психологическая*. Эта материальная необходимость — несознательна, но отнюдь не «бессознательна» во фрейдовском смысле.

„ Метод свободного фантазирования — есть метод конструирования метафоры («бессознательное») и ее проецирования в искомое x . Это фантазирование, конечно, не случайно, но оно само нуждается в *объективном объяснении*. Конечно, при объяснении образа сна момент биологический и психологический очень важен. Но в образах мифов, искусства — в частности остроты и философии — все существенное и актуальное (творческое) подлежит социально-экономическому объяснению.

С развитой нами точки зрения может быть проделан интересный анализ всех метафорических образований (комплексы и их моменты), населяющих фрейдовское бессознательное.

Но это выходит из рамок нашей статьи.

VII

Лучшим доказательством правильности нашего взгляда на психоанализ, на его основное метафорическое ядро и широкие идеологические тенденции, является последняя книга O. Rank'a: «*Das Trauma der Geburt*» (1924 г.). Это великолепное *reductio ad absurdum* фрейдизма.

Нужно отметить, что Ранк — любимый ученик Фрейда и считается самым ортодоксальным фрейдистом; книга посвящается учителю и предносится ко дню его рождения. Признать ее случайным явлением никак нельзя. Это — последнее слово психоанализа, под которым подписывается, вероятно, и сам Фрейд.

Вся жизнь человека и все культурное творчество является, по Ранку, не чем иным, как изживанием и преодолением на различных путях и различными средствами травмы рождения.

Рождение человека в мир — травматично: организм, вытолкнутый из материнского лона, переживает страшное потрясение, равным которому будет только органическое потрясение смерти. Ужас и боль этой травмы есть и начало человеческой психики. Страх рождения становится первым вытесненным моментом, стягивающим к себе все остальные последующие. Это — корень бессознательного и вообще всего психического. Избыть ужас рождения человек не может во всей последующей жизни. Но вместе с ужасом рождается и тяга назад, в пережитый рай внутриутробного состояния. Отсюда и двойственное отношение к материнскому лону: оно влечет к себе, но оно же и отталкивает. Эта жажда возврата и этот

страх остаются навсегда в душе человека как источник всей его жизненной продуктивности.

Внутриутробное состояние характеризуется отсутствием разрыва между желанием, потребностью и их удовлетворением, т.е. между организмом и внешней реальностью: внешний мир для зародыша, это — организм матери, как бы непосредственно продолжающий его собственный организм.

Все характеристики рая и золотого века в мифах и сагах, характеристики идеального единства мира и будущей гармонии в философии и, наконец, социальные утопии — явно выдают черты своего происхождения из этой же тяги к внутриутробной жизни, однажды пережитой, т.е. в основе их лежит смутная, бессознательная память о действительно бывшем рае, и в этом смысле они не выдуманы.

Но врата рая охраняет суровый страж — ужас рождения, который всегда подымается, когда возникает в психике тяга к возврату, и отбрасывает это желание в бессознательное.

Травма рождения воспроизводится в болезненных симптомах: в детском страхе, в неврозах и в психозах. Здесь она непродуктивно повторяется телом больного, но этим не преодолевается. Преодоление травмы происходит только на путях культурного творчества (включая сюда экономику и технику). Ранк определяет это творчество как совокупность усилий превратить внешний мир в замену, в суррогат (Ersatzbildung) материнского лона.

В этом смысле вся культура и техника символичны. Мы живем в мире символов, которые в конечном смысле означают одно: материнский uterus и пути в него. Что такое пещера, в которую забивался первобытный человек? Что такое комната, дом, государство и пр. как не суррогаты-символы оберегающего лона?

Ранк пытается вывести форму искусства из того же источника: так, архаические статуи с их скрюченными, сидячими телами недвусмысленно выдают положение зародыша. Только греческий человек пластики, атлет, свободно играющий во внешнем мире, знаменует преодоление травмы. Греки разрешили загадку сфинкса, которая была загадкой рождения человека.

Все творчество, таким образом, обусловлено как со стороны формы, так и содержания актом рождения в мир. Но наилучшим суррогатом рая, наиболее полной компенсацией травмы рождения является, по Ранку, эротическая жизнь, приводящая к coitus'у, к этому частичному возврату в uterus, — единственно возможному для человека¹. Смерть представляется нашему бессознательному как возврат в uterus; страх же, с нею связанный, повторяет ужас рождения. Древнейшие формы погребения: зарывание в землю («мать-земля»), сидячее положение покойника (намеки на зародыша), погребение в лодке (uterus; околоплодная жидкость), форма гроба, наконец, связанные с погребением обряды — все это выдает бессознательное понимание смерти как возврата. Греческий способ сжигать трупы также знаменует наиболее удачное преодоление травмы. Последние судороги агонии, по Ранку, телесно точно воспроизводят первые судороги рождающегося организма.

¹ Об этом также см. *D-r. S. Ferenczj*, «Versuch einer Genitaltheorie» (1924 г.).

Нечего и говорить о том, что методы Ранка в этой работе совершенно субъективны: он даже не пытается дать объективного, физиологического анализа травмы рождения и ее возможного влияния на последующую жизнь физического организма. Он ищет *только воспоминаний о травме в бессознательном человека*, ищет дно субъективного опыта, думая, что на этом дне он найдет и все физическое.

Чрезвычайно характерно понимание Ранкам психоаналитических сеансов: они воспроизводят, по его мнению, не что иное, как акт рождения (самое психоаналитическое лечение тянется нормально около девяти месяцев). — Сначала libido больного прикрепляется к врачу; полутемный кабинет (в освещенной части находится только больная, а врач — в полумраке) изображает для больного (для его бессознательного, конечно) uterus матери. Конец лечения воспроизводит травму рождения: больной должен освободиться от врача и в этот момент изжить свое травматическое отделение от матери. Если ему это удастся — он сумеет преодолеть непродуктивную тягу назад, в uterus, последний источник всех неврозов.

Метафорическое значение психоаналитического сеанса для всего фрейдизма здесь обнажается с чрезвычайной ясностью, а вместе с тем до своего логического предела доведена и идеологическая тенденция этой теории. Едва ли все это нуждается в каких-либо критических комментариях.

Мы вернулись к тому, с чего начали нашу работу, — к прегадкому вечеру нашего рождения. По Ранку, мы принуждены топтаться на этом моменте всю нашу жизнь до прекрасного утра смерти; но, увы, и она не продвинет нас дальше: ее агония только повторит травму рождения. Мы вернулись к пресыщенной печоринской мудрости (наш эпитаф), но должны, однако, признать за ней некоторое преимущество перед мудростью Ранка: она, по крайней мере, *иронична*. Тон книги Ранка — пророчески-вещающий (она напоминает Шпенглера, только менее талантлива). Но содержание пророчесственной вести просто: организм человека рождается только для того, чтобы всю жизнь пережевывать одну и ту же жвачку — травму своего рождения.

Основное устремление буржуазной философии — создать мир по ту сторону социального, собрать в него все то, что можно абстрактно выделить из цельного человека, ипостазировать (олицетворить) эти абстрактные моменты и пополнить всевозможными функциями. Космизм антропософии (Штейнер), биологизм Бергсона с прочими «*du minores*» философии жизни, и, наконец, разобранный нами психобиологизм Фрейда, каждое из этих трех направлений, поделивших между собою весь буржуазный мир, — по-своему служат этому устремлению буржуазной философии. Смешение воедино крайней абстракции с яркой полухудожественностью или прямо художественной образностью характерно для всех трех направлений. Они определили собою физиономию современного буржуазного «*Kulturmenschen*» — штейнерианца, бергсонианца, фрейдиста, — и три алтаря его веры и поклонения: *магию, инстинкт, сексуальное*. Меньше всего пафоса у фрейдизма, поэтому и тенденции разложения у него обнаженнее, отчетливее и циничнее (неужели это делает его похожим на материализм?).

В нашей статье мы и попытались вскрыть эти *основные тенденции*: с помощью образной проекции *стянуть в душевный рай психологизованного организма всю внешнюю материальную необходимость и представить ее только как игру внутренних психических сил — сексуальных влечений и влечений «я».*

И в итоге — сначала вся культура и история оказались суррогатом coitus'a, а потом и coitus — только суррогатом внутриутробного состояния зародыша. Остается сделать заключительный шаг и признать это последнее суррогатом чистого небытия.

Было бы, по крайней мере, последовательно!¹

¹ Сам Фрейд и не побоялся этого последнего вывода, но сделал его в очень осторожной и затухавшей форме. См.: «Jenseits des Lustprinzips».

ИИ. КАНАЕВ

СОВРЕМЕННЫЙ ВИТАЛИЗМ

ЛОБЩИЙ ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ВИТАЛИЗМА

I. ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИИ

нического?

Если мы с этим вопросом обратимся к современным биологам, мы получим три различных ответа. Одни скажут нам: живой организм, конечно, явление необычайно сложное, и эту свою сложностью организм отличается от явлений неорганического мира; но никакого принципиального различия между ним и телами мертвой природы нет: одни и те же физические и химические силы управляют всею природой, и живой организм со всеми его проявлениями может быть сведен без остатка к деятельности этих элементарных физико-химических сил. Задача эта для науки чрезвычайно трудная; фактически свести все органическое к действию неорганических сил сполна современная наука еще не может, но что задача эта принципиально вполне разрешима — это во всяком случае не подлежит сомнению.

Такой ответ дает нам одна из групп современных биологов, группа так называемых механистов. Но другая группа ответит иначе.

Жизнь — скажут нам представители этой группы, называемые виталистами, — отличается от явлений неживой природы не только своей необычайной сложностью, — она по существу нечто совсем иное. Жизнь — автономна; это значит, что она подчиняется своим особым элементарным законам, что в ней действуют особые жизненные силы, которых нет в остальной природе. Жизнь, правда, не нарушает физических и химических законов, но сполна она ими необъяснима: в живом организме всегда останется некоторый остаток, принципиально несводимый к действию физико-химических сил; этот остаток и есть то своеобразное качество жизни, которое должен объяснить нам биолог; физику и химику с этим качеством нечего делать.

Так скажут виталисты. На среди современных биологов найдутся еще представители третьей точки зрения.

Спор наш — скажут они виталистам и механистам — средствами современной нам науки совершенно неразрешим. Может быть, действительно, удастся свести явления жизни к действию элементарных физико-химических сил, а может быть и нет, — и тогда правыми окажутся виталисты. Пока, во всяком случае, такого сведения органического к неорганическому наука не выполнила и в настоящее время, безусловно, не может выполнить. Не будем же ручаться за будущее, признаем искренне основной вопрос биологии — что такое жизнь — научно пока неразрешимым и займемся продуктивными исследованиями в области частных специальных вопросов органической жизни, где у нас есть твердая и на-

дежная почва под ногами. Этим мы, по крайней мере, будет собирать и готовить те данные, которые в будущем позволят разрешить интересующий вас основной вопрос нашей науки.

Последняя точка зрения, может быть, многим покажется самой убедительной и наиболее соответствующей духу науки. Стремление всюду, где это только возможно, обходиться без всяких гипотез, вражда к оторванному от фактов, бесплодному умозрению, осторожность, умение всегда учесть пределы возможного и соответственно ограничить свою задачу — ведь именно эти качества естественнонаучного исследования составляют его главную силу, и им обязаны положительные науки своими громадными достижениями. Не будет ли более в духе естествознания отказаться с самого начала от общего и принципиального разрешения проблемы жизни и предоставить ее умозрительным философам?

Тем не менее, несмотря на кажущуюся верность ее духу естествознания, мы должны признать третью точку зрения, пытающуюся сохранить нейтралитет в споре между витализмом и механизмом, в корне неверной и неприемлемой с самого начала.

Мы постараемся это показать. Критика нейтральной точки зрения позволит нам точнее сформулировать самый вопрос о жизни и перевести его в ту правильную плоскость, в которой он должен ставиться.

2. ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ БИОЛОГИИ

Прежде всего мы поставим представителям нейтралитета следующий вопрос: вы предлагаете нам, отказавшись от общей проблемы органической жизни, заниматься частными исследованиями в области специальных вопросов биологии. Прекрасно, но каким методом должны мы производить эти частные исследования? К чему мы должны стремиться, делая те или иные наблюдения, ставя тот или другой эксперимент? Должны ли мы искать в изучаемых явлениях причинно-следственных связей и известных нам физических и химических закономерностей и в этом направлении ставить наблюдения и эксперимент? Или же мы с самого начала должны искать целесообразности и плановости в органической жизни и стараться нащупать "жизненную силу", прослеживая ее действия в живом организме? Ведь ясно, что при таком направлении, при таком методе исследования придется уже иначе вести наблюдения и иначе ставить тот или иной единственный эксперимент. Итак, каким же методом должна работать биология?

На такой, чисто методологически поставленный вопрос необходимо уже дать точный, однозначный и категорический ответ. Никакого нейтрального метода предложить, конечно, нельзя. Нельзя сказать: ищите и причинной необходимости, и целесообразности, и физико-химических, и жизненных сил; что удастся найти, то и будет хорошо; ведь это то же самое, что сказать: ничего не ищите. Ученый не может не быть активным: ответ дает объективная действительность природы, но вопрос ставит он сам (хотя, конечно, под руководством той же природы). Метод в науке и есть не что иное, как основное направление в постановке вопросов. Без определенного метода не может быть нау-

ки. Метод определяет собою всецело и конкретную методику научного исследования, т.е. самую технику научной работы: конструкцию различных приборов, употребляемых при исследовании, способы пользования ими, технику постановки эксперимента и пр.

Центральный вопрос о методе может находиться в стадии колебания, осторожного нащупывания и некоторой неопределенности только в самый ранний, еще детский период развития той или иной науки. В этот свой первый период наука еще не способна объяснять необходимость наблюдаемых ею явлений и не может вызывать или изменять их искусственно (эксперимент); она принуждена ограничиться более скромной задачей простого описания и предварительной классификации явлений. Эту описательную стадию должна проделать каждая наука, но остановиться на ней ни одна не может. Целью всякой науки является объяснение необходимости возникновения и развития изучаемых явлений, т.е. знание законов, которые ими управляют; а гарантией этого объяснения для естественных наук может быть только эксперимент (произвольное вызывание и изменение явлений при искусственно создаваемых и изменяемых экспериментом условиях). На этой высшей стадии своего развития наука впервые может осуществить свое великое практическое назначение — утвердить господство человека в данной области явлений.

Не подлежит никакому сомнению, что биология уже вступила в эту стадию развития всякой науки, правда, значительно позже, чем ее старшие сестры — физика и химия; правда, и до сих пор в некоторых ее отделах громадную роль играет описание и чисто описательная классификация (систематика), а в некоторых ее областях (в морфогенетике) эксперимент появился всего только вчера¹, — но тем не менее путь биологии как одной из естественных наук уже определился раз и навсегда: она владеет своим методом, раз она дает уже объяснения и ставит эксперименты. Поэтому ничто не может препятствовать довести этот метод до ясного и отчетливого осознания. Ни о каком "обоснованном" нейтралитете между механистами и виталистами не может быть и речи.

Мы не ждем от биологии теперь же положительного ответа — объяснения всех явлений жизни, не ждем и не можем ждать полного и исчерпывающего определения живого организма. Да такого полного, окончательного определения своего предмета ни одна наука дать не может: ведь это означало бы ее конец, так как дальше науке идти некуда. Такое полное, целостное определение своего предмета является только вечно движущеею, но никогда не достигаемою послед-

¹ Появление эксперимента в морфогенетике (Вильгельм Ру и его школа) послужило, вероятно, одной из причин обострения методологических проблем по всему фронту биологии. Эксперимент требует большой активности со стороны ученого-экспериментатора, что невозможно без определенного и принципиального разрешения основных методологических проблем. Характерно, что оживление витализма произошло как раз на почве морфологии в тесной связи с работами Ру: именно здесь приходилось виталистам спасать и отстаивать свои позиции.

нею целью всякой науки. Если понимать вопрос о жизни в окончательном смысле, то, конечно, нейтраллисты правы: биология не может дать полного определения жизни. Но мы этого и не требуем, мы спрашиваем о другом: как объясняет наука явление органической жизни (поскольку она уже может кое-что объяснить), что она может признать за действительно научное объяснение их и что она за такое объяснение не признает? — Только физико-химическое, причинно-следственное объяснение, — отвечают механисты. — Не только физико-химическое, возражают виталисты, — истинно биологическим объяснением должно быть другое, именно — сведение органических явлений к целесообразным действиям жизненной силы.

В таком споре нейтралитет совершенно невозможен. Не заняв в нем определенной позиции, нельзя вести и научного исследования.

3. ОСОБЕННОСТИ. СОВРЕМЕННОГО ВИТАЛИЗМА И НГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Витализм, равно как и механическое учение появились не сегодня. Уже в древней Греции можно довольно отчетливо различить два направления примитивной научной мысли в вопросах, касавшихся понимания живого организма. Одно направление старалось объяснить весь мир монистически: всюду господствует одна и та же необходимость, всюду — причинность, все механически предопределено; живой организм, даже человек с его поступками и историей, не является исключением: они подчиняются тем же законам, как и вся остальная природа. Жизнь человека как определенной общественной единицы подчинена своим особым, историческим закономерностям.

Другое направление носит дуалистический характер: живое существо — и прежде всего человек — занимает привилегированное положение в мире: вместе с жизнью на мировой сцене появляются новые силы — цель, планомерность, свобода; по отношению к живой жизни вообще и особенно человеческой, ум должен задаваться другими вопросами — "зачем", "с какою целью", а не "почему" и "по какой причине".

Животный организм понимался греческими виталистами по аналогии с человеком; человек же был прежде всего партнером в жизненной практике, в социальном общении: вместе с ним или против него боролись, его обвиняли, хвалили, ему подчинялись, — все эти жизненные отношения понимались под углом зрения цели, свободы и ответственности. Понятия и подходы, выработанные в гуще практической ориентации, непосредственно переносились в область теоретического познания человека и животного мира.

Первым, создавшим, правда, наивную, но очень последовательную и законченную виталистическую теорию жизни, был Аристотель. Основные выработанные им термины сохраняются витализмом, как мы это увидим, до наших дней.

Оба направления биологической мысли перешли и в новое время. Эпоху наибольшего господства витализма был XVIII и начало XIX века.

XVII век — век Кеплера, Галилея, Декарта и Ньютона — был мало благосклонен к витализму. Вторая половина прошлого века с ее блестя-

щими успехами в области естественных наук, особенно химии, почти не знает витализма: он, казалось, совсем ушел со сцены. Но в самом конце XIX в., и в начале нашего столетия витализм возрождается с новой силой.

Этот современный нам, возрожденный витализм существенно отличается от родственных ему учений XVIII и начала XIX в. (и, само собою разумеется, от античного витализма). Витализм XVIII века можно назвать догматическим. Его представители заботились об объяснении отдельных конкретных случаев с помощью "жизненной силы", целесообразности и пр., но самый вопрос о принципиальной допустимости такого рода объяснений в большинстве случаев просто не существовал для них: они молчаливо предполагали допустимость таких объяснений. Если же вопрос и возникал, то его принципиальная методологическая сторона оставалась непонятной; приводились наивные доказательства вроде следующего: мы не можем определить химически состав веществ, входящих в живой организм (так называемых "живых существ"), мы не можем искусственно приготовить их в лаборатории, следовательно, они принципиально не могут быть поняты с точки зрения обычных химических и физических законов и создаются особыми силами. Или же просто указывалось на многочисленные случаи целесообразного устройства организмов и их приспособления к среде.

Современный нам витализм должен был радикальным образом пересмотреть и переосновать все свои позиции. Наивный догматизм старых виталистов стал совершенно неприемлем. Поэтому современный витализм мы можем назвать в отличие от старого — критическим витализмом¹. Этим мы, конечно, вовсе не хотим сказать, что витализму объективно удалось сделаться критическим. Мы этого не думаем; в дальнейшем мы надеемся убедить читателя, что витализм по самому своему существу не может преодолеть догматизма, т.е. он может быть в конечном счете только делом личной веры, но отнюдь не обоснованного научного знания; мы называем современный витализм критическим в субъективном смысле, т.е. отмечаем только тот факт, что его представители — удается им это или нет — стремятся быть критическими: облачают свои построения в принципиальную методологическую форму, стараются учесть силу механистической позиции в биологии. И эту сторону неовитализма необходимо отметить.

Наиболее выдающимися представителями современного витализма в Западной Европе являются: немецкий биолог и философ Ганс Дриш², Икскуль³, Райнке⁴, психолог Штерн¹ и философы Гартман² и Бергсон³.

¹ Крупнейшие представители неовитализма Дриш и Икскуль — связывают сами свое учение с критическим идеализмом Канта.

² Его основные труды: "Philosophie des Organischen". I и II т., 1909; "Der Begriff der organischen Form" — 1919 г. В русском переводе имеется его книга: "Витализм" (перев. А. Г. Гурвича).

³ Его основной теоретической труд: "Theoretische Biologie", 1920 г.

⁴ Основной труд: "Die Welt als That".

Объединенные общей основой виталистической концепции, все перечисленные нами представители этого направления отнюдь не составляют единой школы: почти у каждого из них своя собственная школа, по многим вопросам часто кардинальной важности они резко расходятся между собой. Поэтому говорить об единстве виталистического направления совершенно не приходится.

Самым выдающимся и сильным представителем неовитализма является Ганс Дриш. Он начал научную деятельность как замечательный эмбриолог-экспериментатор. Его работы в этой области сыграли в свое время очень важную роль в науке¹, а в настоящее время Дриш занимает кафедру философии. На эту кафедру привел его витализм. Мы в дальнейшем увидим, что такой путь для виталиста является очень последовательным.

Дришу принадлежит наиболее продуманное и цельное обоснование витализма. Он оценивает силу механистической позиции: ни одного из доказательств витализма, предложенных его предшественниками и современниками, Дриш не принимает, считая, что явления, на которые опираются эти доказательства, принципиально допускают и механистическое объяснение. Он ищет такого случая, где физико-химическое объяснение проявлений органической жизни было бы принципиально исключено, где можно было бы, так сказать, поручиться за все будущее науки, где самое применение механистической точки зрения приводится к логическому абсурду, а не только фактически безрезультатно. И таких случаев Дриш находит немного: в своем основном труде "Философия органического" он приводит только четыре доказательства витализма или, как он выражается, автономии жизни (т.е. ее самостоятельности, несводимости к физико-химическим явлениям). Дриш предлагает нам только необходимый и, по его мнению, уже совершенно бесспорный минимум витализма. Все это делает рассмотрение и критику Дриша чрезвычайно удобной и продуктивной: мы не рискуем потеряться в деталях и все время можем иметь перед глазами основную методологическую сторону проблем. Кроме того, свои доказательства Дриш развивает не в виде отвлеченных и туманных рассуждений, как большинство других виталистов, а на конкретном экспериментальном материале, научно вполне безупречном; тем легче будет отделить лъжное умозрение от фактических опытных данных. Поэтому в дальнейшем (и в следующих главах) мы намерены ограничиться рассмотрением первого, третьего и четвертого доказательств Дриша. Этого вполне достаточно для наших целей.

¹ Основной труд: "Person und Sache".

² Работа Гартмана, касающаяся специально проблемы органической жизни — "Das Problem des Lebens".

³ Биологической проблемы Бергсон касается главным образом в своем труде "Творческая эволюция".

⁴ В своих первых работах он был сторонником физико-химического объяснения жизни.

⁵ Второе доказательство мы совершенно исключаем из рассмотрения, так как оно потребовало бы пространных специальных объяснений из области генетики.

Теперь мы должны познакомиться с той областью биологии, в которой расположены главные боевые позиции современного витализма.

**4, ЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ КАК ГЛАВНОЕ
ОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ВИТАЛИЗМА**

Те явления, на которых по преимуществу базируются неовиталисты, носят название органических регуляций.

Регуляция есть реакция организма как целого на какое-нибудь повреждение, с помощью которой орга-

низм снова восстанавливает свою нарушенную целостность: целостность разрушенной формы (морфологическая регуляция или реституция) или целость нарушенной функции (физиологическая регуляция).

Если дождевого червя разрезать поперек, то через некоторое время из задней половины разовьется вся передняя со всеми ее органами, — целость разрушенной формы червя, таким образом, снова восстановится, — вот общеизвестный случай органической регуляции (реститутивный; эта регуляция носит название регенерации, когда восстановление происходит у поверхности раны).

Изумительную регулятивную способность отличается гидра — самый низший представитель кишечнорастных. Это — маленькое животное, очень часто встречающееся в наших пресных водах. Оно имеет вид трубки, один конец которой прикрепляется к различным предметам, а на другом конце помещается рот и несколько (обыкновенно 6-7) длинных щупалец. Эту гидру можно резать на куски как угодно, она всегда будет восстанавливать свою разрушенную форму.

Можно проделать над гидрой следующий интересный эксперимент¹. Нужно взять двух гидр, распороть их по длине тела, развернуть в пластинки, затем наложить развернутых гидр одну на другую и скрепить препарат иглами. Такой опыт носит название конплантации (сращения); через известный промежуток времени обе гидры срастутся в один организм. Обыкновенно уже к вечеру того же дня (если опыт поставлен был утром) получается правильная, но очень широкая гидра с 12-ю щупальцами, вместо нормальных шести. В течение нескольких дней можно наблюдать на этой сращенной гидре интереснейший процесс всесторонней органической регуляции.

Сначала идет физиологическая регуляция (регуляция функций). В первое время нет единства в функционировании сращенной гидры: функционируют как бы два организма в одном; так, каждая группа из 6-ти щупалец сокращается одна совершенно независимо от другой. Обычно на второй или третий день эта функция сокращения щупалец регулируется: обе группы щупалец сокращаются одновременно, как принадлежащие одному животному; они прекрасно ловят дафний, которыми питается гидра, и отправляют добычу в общий рот и желудочный отдел.

¹ Этот эксперимент и следующий были произведены покойным профессором Исаевым. См. его замечательную работу в "Трудах Ленинградского Общества естествоиспытателей", т. LUI, вып. II: "Этюды об органических регуляциях".

Таким образом нормальное функционирование организма оказывается восстановленным.

Затем идет морфологическая регуляция восстановления нормальной формы). Через несколько времени два каких-нибудь щупальца начинают сближаться в своих основаниях и, наконец, срастаются (в основаниях же); получается своеобразная развилка — раздвоенное щупальце. Затем эта развилка постепенно сдвигается к концу щупальца, ветви ее становятся короче, и, наконец, она совсем исчезает: из двух щупалец получилось одно — нормальной формы. У нашей гидры, таким образом, из двенадцати щупалец оказывается теперь только одиннадцать. Затем тот же процесс слияния схватывает следующую пару щупалец, потом другую, третью и т.д., пока, наконец, не окажется всего шесть щупалец, т.е. характерное для формы данного вида число. Так восстанавливается нормальная форма организма.

Но можно проделать следующий, еще более поразительный эксперимент конплантации. Можно взять несколько гидр (три — пять), раскрошить их на мельчайшие куски, перемешать все эти кусочки иглой и сформировать их в комочек живого вещества.

Уже на другой день начнется в этом бесформенном комочке мощный процесс органической регуляции. Сначала выйдут наружу все щупальцы, затем на поверхности начнут собираться все куски эктодермы (внешнего слоя), а все куски энтодермы (внутреннего слоя) начнут догужаться вглубь и занимать нормальное топографическое положение. Затем начнется дифференцировка отдельных гидр, которые свешиваются вокруг центрального комка: получается колония из нескольких гидр с общим центром. Весь препарат похож в этой стадии развития на многоголовую Лернейскую гидру. И, действительно, если мы оторвем у препарата все головы, то они опять отрастут (регенерация), — совершенно так же, как у мифического чудовища. В дальнейшем процессе регуляции отдельные выступающие гидры все более и более дифференцируются, приобретают нормальную форму и, наконец, расходятся. ^

В этом эксперименте торжество цельной органической формы, % бесконечным упорством и изворотливостью отстаивающей свою целостность и свою видовую типичность, еще изумительнее, чем в первом.

Таковы органические регуляции.

У читателя есть теперь отчетливое представление о том поле органических процессов, на котором укрепили свои главные боевые позиции современные виталисты.

ИДРИШЕВСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АВТОНОМИИ ЖИЗНИ И КРИТИКА ЕГО

1 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДРИШЛА
НАД РАЗВИТИЕМ ЛИЧИНКИ
МОРСКОГО ЕЖА

В предыдущей главе мы познакомились с общим характером неовитализма. Мы видели, что это направление современной биологии считает явления органической жизни принципиально необъяснимыми с причинно-следственной материалистической точки зрения и ищет для их объясне-

ния особые целесообразно действующие жизненные силы. Жизнь, по мнению Ганса Дриша, главного представителя современного витализма, является автономной, т.е. управлявшейся своими собственными законами: она целесообразна, планомерна и гармонична; причем эту планомерность и гармоничность органической жизни Дриш считает совершенно объективным качеством ее, таким же объективным, как и причинно-следственную обусловленность для явлений неорганического мира.

Мы видели, далее, что свои главные доказательства современные виталисты строят в очень обширной, но еще мало изученной области так называемых органических регуляций. Под органическими регуляциями понимают все те проявления живого организма, с помощью которых он реагирует на различные повреждения своей формы или нарушения функций и снова восстанавливает свою целостность, нормальность и видовую типичность; в отличие от тел мертвой природы и от машин и механизмов, созданных рукою человека, живой организм сам может починять и восстанавливать себя самого, следуя при этом с поразительной точностью сложнейшему плану своего строения.

К области органических регуляций принадлежит и первое, предложенное Г.Дришем, доказательство автономии жизни: оно касается регуляций нарушенного процесса зародышевого развития личинки морского ежа. Мы разберем это доказательство на дришевском экспериментальном материале.

Возьмем яйцо морского ежа и проследим нормальный, так сказать, классический процесс его развития. Яйцо, как известно, состоит из одной единственной клетки, а будущая личинка ежа (так называемый *Pluteus*) является самостоятельно живущим многоклеточным организмом с дифференцированными тканями и органами; в первый период развития и должно произойти разделение на клетки и дифференцировка тканей и органов. Проследим же этот процесс.

Разделение на клетки или так называемое дробление происходит следующим образом: сначала делится ядро яйца (кариокинез), а затем делится пополам все яйцо, и мы получаем двухклеточного зародыша или стадию двух клеток (см. рис. 1, б). Каждая из этих двух клеток делится

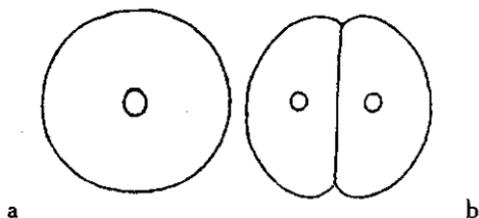


Рис. 1.

затем, в свою очередь, на две клетки, и мы получаем четырехклеточного зародыша или стадию четырех клеток (см. рис. 2, а). Далее, каждая из

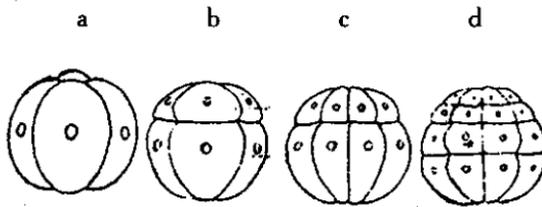


Рис. 2.

четырёх клеток делится на две — получается стадия восьми клеток; но в восьмиклеточном зародыше клетки расположены уже в два этажа (см. рис. 2, б). Далее тем же путем проходится стадия шестнадцати клеток, потом тридцати двух и т.п., пока, наконец, не образуется около восьмисот, клеток; на этом дробление кончается. В результате мы имеем зародыш в виде шарообразного скопления клеток с пустою полостью (так называемую полостью дробления) внутри. Зародыш на этой стадии называется бластулой, а каждая клетка дробления — бластомером. На внешней стороне клеток бластула имеет маленькие реснички, с помощью которых она может свободно плавать (см. рис. 3, а). Но это уже начало нового периода зародышевого развития, период дифференциации однородного состава бластулы, период образования зародышевых слоев, из которых разовьются затем отдельные органы. Прежде всего образуются два основных зародышевых слоя — внешний и внутренний — следующим образом: одна из половин шара бластулы впячивается в полость дробления — это и будет внутренний слой или энтодерма; оставшаяся невогнутой вторая половина является наружным слоем — эктодермой; во внутреннем слое (энтодерме) дифференцируется полость первичного кишечника (см. рис. 3, б). В этом периоде развития зародыш называется гастролой.

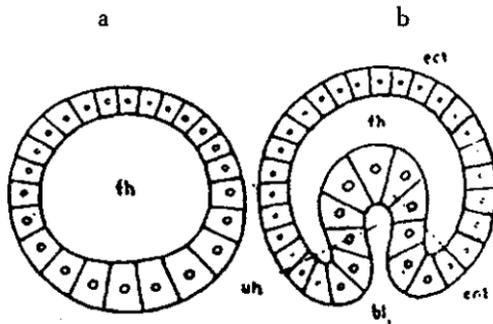


Рис. 3.

Не будем следить дальше за нормальным ходом развития зародыша, остановимся здесь и займемся некоторыми экспериментами над первыми этапами этого развития.

I. Возьмем зародыша в стадии двух клеток и путем сотрясения отделим один бластомер (клетку дробления) от другого: каждая клетка будет развиваться совершенно нормально через все стадии дробления и даст в результате законченный организм сначала бластулы, а потом и гаструлы, только соответственно уменьшенных размеров. Таким образом половина зародыша (стадии двух клеток) даст все же в результате развития совершенно целый организм.

II. Возьмем четырехклеточного зародыша и отделим один из четырех бластомеров: в результате развития мы снова получим целый организм соответственно уменьшенных размеров, на этот раз из четверти зародыша (стадии четырех клеток). Три клетки вместе (3/4 зародыша) тоже дадут целый организм.

III. Наконец, мы можем взять развившуюся плавающую бластулу и разрезать ее определенным образом на две половины, и все же мы получим, в процессе развития из каждой половины целый организм личинки морского ежа (только соответственно уменьшенных размеров).

Таковы произведенные Дришем эксперименты¹. Их результаты Дриш облекает в своеобразную терминологическую форму, которая позволяет ему построить и отчетливо сформулировать свое первое доказательство. Эту терминологию Дриша нужно усвоить.

2. ПОНЯТИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ

Развивающееся целое бластулы Дриш называет органической системой, каждый бластомер — элементом этой системы. Из приведенных экспериментов мы видим, что роль каждого бластомера в развитии целого может совершенно меняться: при нормальном развитии из двух бластомер (стадии двух клеток) развивалась целая бластула, в первом же эксперименте она развивается только из одного бластомера; этому одному бластомеру пришлось в этом случае сыграть иную роль, чем при нормальном развитии. При втором эксперименте, когда мы одну четверть зародыша заставляем развиваться в целый организм, роль бластомера снова меняется. В третьем эксперименте происходит новое изменение роли. Таким образом один и тот же бластомер может выполнять в зависимости от обстоятельств развития различные функции в целом, может играть в нем различные роли: у него много возможностей, из которых в каждом отдельном случае он осуществляет только одну. Эти присущие каждому бластомеру возможности или способности Дриш называет проспективными потенциями, а ту действительную роль, которую играет отдельный бластомер в каждом частном случае развития, он называет проспективным значением его. Таким образом, проспективных потенций у каждого элемента (т.е. бластомера) нашей органической системы (т.е. развивающейся, становящейся бластулы)

¹ См.: "Philosophie des Organischen". I B. Ss. 59-64.

много, а перспективное значение в каждом отдельном случае развития только одно.

Далее Дриш утверждает, что перспективные потенции совершенно равно распределены между всеми элементами нашей системы: в зависимости от обстоятельств развития каждый элемент может выполнить функции любого другого.

Для пояснения этого можно произвести еще следующий особый эксперимент. Возьмем нашего зародыша в стадии четырех клеток и зажем его между двумя стеклянными пластинками, но осторожно, чтобы он не погиб; развитие будет продолжаться, но в измененном виде: мы помним, что при нормальном развитии новые четыре клетки дроблением располагались над первыми четырьмя вторым этажом, теперь же они расположатся рядом, и наш восьмиклеточный зародыш окажется одноэтажным. Снимем теперь стекло и дадим зародышу развиваться дальше нормально: следующие восемь клеток расположатся над первыми. Затем дробление пойдет обычным путем, и мы получим в результате целую, совершенно нормальную бластулу.

Что произошло в этом эксперименте? Мы произвольно переменили места восьми бластомер и следовательно заставили их обмениваться функциями в целом; эта перемена ролей, как мы видим, не нарушила нормального хода развития. Таким образом, все элементы нашей системы имеют одинаковые перспективные потенции, по своим способностям они все равны между собой. Такую органическую систему Дриш называет эквипотенциальной¹.

Такова та терминологическая форма, в которую Дриш облекает результаты своих экспериментов. Затем он ставит свой основной вопрос следующим образом: если у каждого элемента эквипотенциальной системы много перспективных потенций, т.е. много возможностей в развитии целого, притом у всех элементов равные возможности, то чем же обусловлено, что в каждом отдельном случае развития осуществляется только одна определенная возможность — именно эта, а не какая-нибудь другая. Или скажем то же самое в образной форме: каждый актер может выполнить любую роль в пьесе (в развитии бластулы), кто же распределяет между ними роли и назначает каждому одну — определенную, кто этот режиссер?

На этот вопрос Дриш дает следующий ответ: перспективное значение, т.е. действительная роль элемента из многих его возможных ролей, определяется тремя факторами: первые два можно назвать механическими факторами, третий — виталистическим. Что же это за факторы?

Первый фактор — это пространственное положение данного бластомера в целом органической системы: в наших экспериментах мы меняли положение каждого элемента, разрезая организм на части или заставляя их перемещаться путем нажима; изменение пространственного места обуславливает и изменение роли данного элемента. Второй фактор — абсолютная величина системы: в одном случае исходным пунк-

¹ "Philosophie des Organischen". I B. Ss. 76-88.

том развития нашей динамической, становящейся системы была половина, в другом — четверть, в третьем — три четверти зародыша, а в конце развития для каждого случая мы имели соответственно уменьшенную бластулу; но изменение абсолютной величины системы не может не отразиться на роли ее отдельных элементов.

Значение этих двух механических факторов, конечно, не подлежит сомнению; на их еще мало для объяснения развития эквипотенциальной системы. Дело в том, что эта система отличается еще одним замечательным свойством. Ведь какую бы роль ни пришлось играть каждому элементу (бластомеру) в зависимости от двух механических факторов, произвольно устанавливаемых нами в экспериментах, — все эти роли разных бластомер оказываются прекрасно согласованными друг с другом: каждый раз мы получаем целую нормальную бластулу. Мы механически смешиваем все роли, — а целая пьеса все-таки получается вполне осмысленной. Мы можем назвать поэтому нашу систему гармонической эквипотенциальной системой.

Чем объясняется эта гармония между всеми перспективными значениями элементов системы? Первые два фактора действуют чисто механически. Изменение пространственного положения элемента в системе и абсолютной величины ее влечет за собой изменение всей материальной физико-химической ситуации, физико-химической конъюнктуры развития; но они не могут определить собою целиком роли каждого элемента, ибо при каждой конъюнктуре осуществляется осмысленное целое. Необходимо допустить новый, не механический, фактор, который как бы учитывает создавшуюся физико-химическую конъюнктуру, с одной стороны, и план предстоящего целого организма — с другой; который знает цель и в то же время владеет средствами. Только такой фактор может объяснить, по Дришу, гармоническое действие эквипотенциальной системы. Этот третий виталистический фактор Дриш называет энтелехией. Термин этот был введен еще Аристотелем, и значит он в дословном переводе с греческого — "имеющий себе цель"¹.

Энтелехия по Дришу, — это не материальная и не пространственная и потому совершенно недоступная внешним чувствам интенсивная величина. Это — как бы план целого, определяющий и регулирующий развитие организма. Конечно, энтелехия не может вмешиваться, как физическая энергия, в процессы развития, что привело бы к нарушению физических законов природы, чего Дриш не допускает; ее роль сводится только к учету физико-химических сил, ни изменить, ни пополнить которых материально она не может. Энтелехия меняет как бы органический смысл всей ситуации, которая оказывается вследствие этого планомерной. Как происходит это своеобразное

¹ Дриш употребляет этот термин не совсем в аристотелевском смысле; его понимание более соответствует другому термину Аристотеля — "эйдос", что значит — образ целого.

нематериальное вмешательство, на это Дриш не дает нам ясного и однозначного ответа¹.

5. ПОПЫТКА ПРИВЕДЕНИЯ К АБСУРДУ МЕХАНИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Для нас эта, уже чисто метафизическая, сторона дела не представляет никакого интереса.

Объяснить действия гармонической эквипотенциальной системы без помощи энтелехии Дриш считает совершенно невозможным и даже логически абсурдным. Приведение к абсурду механистического объяснения гармонической эквипотенциальной системы, собственно, и составляет существо его первого доказательства автономии жизни. Мы проследим окончательную форму этого доказательства на другом экспериментальном материале, предложенном Дришем.

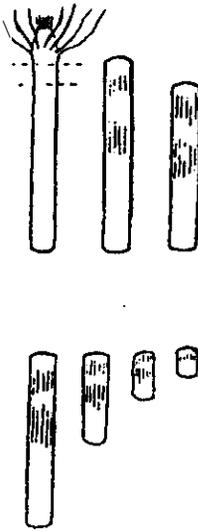


Рис. 4. Регенерация табулярии. (По Дришу.)

Есть такой гидроид-полип *Tubularia*; он изображен у нас на рис. 4. Как видит читатель, организм *Tubularia* состоит из трубки длиной от 3-5 см и из головки; головка состоит из двух частей: нижней — покрытой рядом длинных щупалец, и верхней — хоботовидной части, на которой щупалец меньше и они короче. Если мыотрежем головку *Tubularia*, то она через некоторое время снова восстановится. Сначала появятся на некотором расстоянии от среза два колечка, затем из этих колечек разовьются оба венчика щупалец, и, наконец, верхняя часть ствола преобразуется в нормальную головку. Мы можем перерезывать стебель *Tubularia* в любом месте, можно перерезать его с двух концов сразу, — головка все равно будет восстанавливаться пропорционально величине целого. Можно оставить ничтожнейший отрезок стебля длиной в два миллиметра и все-таки в миниатюре восстановится целый организм.

Из эксперимента, таким образом, ясно, что любая часть ствола способна восстановить любую часть головки, причем работы выполняемые отдельными частями, отлично согласованы друг с другом: мы всегда получаем пропорциональный организм. Попробуем дать механистическое, машинное объяснение этого явления.

Возьмем отрезок стебля в два сантиметра: он должен заключать в себе очень сложную физико-химическую машину, способную восстановить целый организм. Разрежем эту предполагаемую машину пополам, и у

¹ От суспензионной теории, предложенной Дришем в 1908 г., он в настоящее время отказался и предлагает другое понимание воздействий энтелехии, так называемую теорию моделирования. См. об этом: Дриш. "Begriff der organischen Form", S. 57-61.

нас получатся две точно такие же машины меньших размеров, способные восстановить целый организм. Эти машины мы можем продолжать резать как угодно, и всегда мы будем получать такие же работоспособные машины, только все меньших и меньших размеров.

Что же это за машина, которую можно дробить сколько угодно, сохраняя при этом ее нормальные функции? В нашем двухсантиметровом отрезке Tubularia должно заключаться множество сложнейших больших и маленьких машин с одной и той же функцией, причем эти машины еще налегают друг на друга: части одной совпадают с совершенно иными частями другой. Такой механизм противоречит самому понятию механизма. Машинная теория, таким образом, приводится (по мнению Дриша) к абсурду: гармоническая эквипотенциальная система принципиально не может быть разложена на механистические элементы. Жизнь требует новых — не физико-химических элементарных сил для своего объяснения, т.е. она автономна.

Таково перло и основное доказательство Дриша. Займемся его разбором и методологической критикой.

4, КРИТИКА понятия "ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ"

Мы должны еще раз подчеркнуть, что дело идет о принципиальной стороне вопроса. Молодая наука — биология еще не может дать отвечающее всем научным требованиям объяснение таких сложных явлений, как органические регуляции. На этом интереснейшем поле проявлений органической жизни биология пока почти совершенно бессильна. Поэтому мы не можем противопоставить дришевским виталистическим утверждениям готовое физико-химическое объяснение разобранных им явлений реститутивной регуляции. Мы не можем сказать ему: вот такие-то и такие-то химические процессы развиваются в отдельных бластомерах, такие-то факторы воздействуют на них извне; мы не можем шаг за шагом обнаружить причинно-следственную необходимость всего происходящего в саморегулирующемся организме, — все это пока не в наших силах.

Конечно, для этих процессов регуляции можно подыскивать кое-какие внешние аналогии в неорганическом мире: можно, например, указать на кристалл, который, как известно, обладает способностью при определенных условиях восстанавливать свою поврежденную форму, можно прибегнуть и к очень распространенной аналогии организма с машиной. Но все эти сравнения не только ничего не доказывают, но часто бывают даже вредны, так как слишком упрощают необычайную сложность органических явлений. Вопрос должен быть поставлен только так: можем ли мы удовлетвориться дришевским объяснением? Является ли оно вообще типом научного объяснения?

Прежде всего необходимо отметить, что уже самая форма, в которую Дриш облакает результаты своих экспериментов, заключает в себе в скрытом виде предвзятую теорию; доказательство уже предопределено в его описательной терминологии и только переходит из скрытого состояния в явное.

В самом деле: все данное Дришем доказательство держится на его определении гармонической эквипотенциальной системы, а это последнее в

свою очередь базируется на понятии проспективной потенции. Здесь — в различении проспективных потенций и проспективного значения — центр тяжести всего дришевского построения: проспективных потенций много и они равны у всех элементов, а осуществляется в каждом отдельном случае только одна определенная возможность, и именно та самая, которая нужна для развития целого, — вот положение, на котором держится понятие эквипотенциальной системы.

Но верно ли это положение? Вытекает ли оно из опытов Дриша? Принуждены ли мы допустить на их основании много потенций при одном действительном значении?

На самом деле проспективные потенции являются чистой фикцией. Мы можем поставить такой вопрос: когда, в какой реальный момент времени blastomer (или кусочек стебля *Tubularia*) обладает сразу несколькими потенциями, а все blastomeres — равными потенциями? В четырех известных нам случаях развития: 1) при нормальном развитии, 2) в условиях первого эксперимента, 3) в условиях второго эксперимента, 4) в условиях третьего эксперимента, — каждый раз осуществлялась какая-нибудь одна определенная возможность развития нашего blastomera. Дриш говорит: следовательно, у него четыре потенции. Но обладает ли он в какой-нибудь момент времени сразу всеми этими четырьмя потенциями в одинаковой* мере? Может ли отдельный blastomer, скажем, в условиях второго эксперимента развиваться так, как он развивался в нормальных условиях или в условиях третьего эксперимента? — Конечно, нет. Каждый раз он может развиваться только так, как он в действительности развивается, каждый раз ему принадлежит только одна потенция, которая и становится его действительным значением.

Следовательно, нельзя говорить о нескольких потенциях и одном действительном значении, мы вправе говорить только о нескольких действительных значениях при нескольких различных условиях развития: о действительном значении *A* при совокупности условий *a*, о значении *B* при совокупности условий *b*, о значении *C* при условии *c* и т.д. Каждой совокупности условий соответствует только одна возможность, которая не может не стать действительностью. При этом, само собою разумеется, всегда и всюду имеют место какие-нибудь определенные условия развития. Поэтому совершенно нелепо говорить, что какая-нибудь определенная возможность развития реально заложена в отдельном blastomere: она в такой же мере в нем (скажем, в его физико-химической конституции), как и во всей совокупности окружающих его условий.

Что же делает Дриш? Он отвлекается от всяких условий, помещает абстрактный blastomer вне времени и пространства, складывает все его значения *A*, *B*, *C* и т.д. (отвлекаясь от соответствующих им условий *a*, *b*, *c*, ...) и приписывает их blastomere сразу как его одновременные способности, — получается, конечно, чистейшая фикция. Понятие потенции лишено всякой реальной почвы.

Но как нет многих потенциалов, так нет и равенства их в системе. Мы опять можем спросить: когда и при каких определенных реальных условиях потенциалы равны у всех бластомеров: ведь в каждом отдельном случае развития в зависимости от различных условий разные бластомеры выполняют разную работу? Никакого равенства потенциалов нет и ни в один реальный момент времени не может быть.

Таким образом, вся эквипотенциальность системы оказывается числейшей абстрактной конструкцией. Ничего реального ей не соответствует. Но для чего же понадобилось Дришу конструировать эту фикцию?

Говорить о нескольких потенциалах, нескольких возможностях имеет только один смысл: предполагается, что все они одинаково возможны, одинаково находятся к услугам и что, следовательно, можно свободно выбирать из них любую. Свобода выбора — не необходимость в органической жизни — вот к чему тяготеет вся дришевская конструкция. Этот выбор и производит энтелехия. Мы без труда узнаем здесь субъективную схему волевого акта, т.е. обычный способ полного субъективного истолкования поступков: я мог пойти в гости, мог пойти в театр, мог пойти гулять, но решил остаться дома и работать; из всех моих возможностей я предпочел занятия.

Вот какая схема легла в основу дришевского понятия эквипотенциальной системы, вот где корень его "многих возможностей", "многих потенциалов". Но эта схема, это "что захотел, то и сделал" — прямая противоположность всякому научному объяснению.

Вся эта разобранная нами конструкция, конечно, совершенно не вытекает из экспериментов Дриша. Эти эксперименты, ценные сами по себе, по-прежнему нуждаются в объяснении, но, конечно, совсем иного типа.

Вот пример такого объяснения, правда, — весьма неполного.

Мы видели, что один бластомер в стадии четырех клеток может стать в результате развития целым бластомером; но если мы отделим один бластомер, например, у шестнадцатиклеточного зародыша, то он уже не дает целого организма. Американский физиолог Жак Леб, много работавший (отчасти в связи с опытами Дриша) над развитием личинки морского ежа, предложил следующее объяснение.

Для развития целого организма необходимы три химических вещества различного состава; в первых стадиях дробления все три вещества наличны в каждом бластомере, поэтому из каждого может развиваться целый организм; но затем эти вещества начинают распределяться между различными клетками: так, в стадии 16 клеток отдельные бластомеры уже не заключают в себе всех трех веществ, а потому развитие целого из одного бластомера невозможно.

Вот лебовское объяснение. Оно, конечно, во многом не полно; но нам это не важно, нам важен самый тип объяснения, самая методологическая схема его. Здесь нет никаких одновременно присущих клетке потенциалов, а три реальных вещества, принципиально доступных наблюдению. Если даны все эти три вещества, и если дана определенная совокупность условий, то из отдельной клетки развивается целый организм. Если же даны другие условия, если, как, например, при нормальном развитии, бластомер не изолирован, а окружен другими клетка-

ми, которые ограничивают его химические возможности, — создается иная физико-химическая конъюнктура для его развития, при которой он может иметь только частное значение в целом. При таком методе объяснения нет нужды в энтелехии, производящей выбор между многими равными возможностями. Учитываются и все те действительные условия, при которых данное явление становится необходимым.

Только таким и может быть научное объяснение.

Когда мы говорим о нескольких возможностях в развитии какого-нибудь явления, то этим мы очень мало характеризуем его объективно. Такое заявление отражает субъективное состояние нашей неуверенности в том, как будет развиваться явление при данной, новой для нас, совокупности обстоятельств. Мы знаем несколько различных случаев его развития, но не знаем законов, которые им управляют. Мы не знаем поэтому, что с необходимостью должно произойти в данном случае, и потому говорим о нескольких возможностях, т.е. строим несколько догадок. Верной может оказаться только одна из них. Это субъективное состояние нашего знания надо всегда строго отличать от объективной стороны явлений.

5. КРИТИКА понятия "ГАРМОНИИ"

Теперь необходимо разобрать и другую сторону дришевской системы — ее гармоничность.

Гармоничность надстраивается Дришем над эквипотенциальностью и потому падает вместе с последней: ведь если нет свободы выбора между многими одинаково возможными потенциями, то нет и гармонии как особого момента; гармония всех элементов окажется такой же необходимо детерминированной, как и действительное значение каждого из них.

Гармоническая система развития целого и негармоническая система его распада одинаково необходимы с точки зрения физико-химической закономерности; причинно-следственный ряд одинаково неуклонно приводит и к одному и к другому финалу развития: в первом нет неожиданного подарка, во втором нет трагической катастрофы; природа ничего не дарит и ничего не отнимает. Конечно, в обоих случаях различен состав и различна степень сложности структур. Но ведь это не принципиальные различия. Что же остается еще за вычетом их в гармонической системе сравнительно с негармонической? Дриш отвечает — гармония. Что же это — какой-нибудь материальный остаток, поддающийся учету и измерению? Ни то, ни другое. Это просто отражение данной материальной системы в нашем субъективном, оценивающем сознании. Гармония — такое же субъективное определение, — как и красота кристалла или изящество лани.

Конечно, в известном смысле, такие определения объективны, но только не в том предмете, к которому они относятся, а в физиологическом и психическом аппарате воспринимающего. В этом смысле можно говорить об объективном биологическом значении красоты в природе: например, красивое оперение птиц иначе раздражает воспринимающий аппарат животного, чем некрасивое, тусклое и однообразное, и, благодаря этому, оно приобретает особое биологическое значение. Но такая